

НОВОСЕЛЬЕ

27-28

НЬЮ-Йорк

1 9 4 6

NOVOSELYE

Price 75 cents

Your Patriotic Duty
IS TO BUY
SAVINGS BONDS
and Stamps

INTERNATIONAL RARE METALS REFINERY, Inc.
New York, N. Y.

СОДЕРЖАНИЕ :

Алексей Ремизов. Чародей	3
София Прегель. Черноморский рассвет. В молельне	20
Ант. Ладинский. Саломея	22
Анна Присманова. Гроза. Пастухи	32
В. Яновский. Путешествие муравья	34
Вадим Андреев. Возвращение	61
Лола Кауфман. Американские рассказы	71
Генрих Манн. Воображаемая встреча	82
Ирина Грэм. Весна в Чапее	93
С. Дубнова. Подвижники гетто	103
Марк Слоним. Русский разговор	107
Владимир Дукельский. Музыкальные итоги	120
В. К. Агафонов. Академик В. И. Вернадский	129

ВЫШЕЛ В СВЕТ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

РУССКИЙ СБОРНИК

КНИЖКА ПЕРВАЯ

С портретами Бунина, Бенуа, Ремизова и Тэффи
Помещены произведения: Г. В. Адамовича, И. А. Бунина, А. М. Ремизова, Н. А. Тэффи, Л. Зурова, Ант. Ладинского, Б. Пантелеймонова, Н. Рощина, П. Ставрова.

Стихи: З. Гиппиус, М. Цветаевой, В. Андреева, Е. Бакуниной, В. Злобина, Г. Иванова, Корвин-Пиостровского, Д. Кугушева, С. Маковского, В. Мамченко, И. Одоевцевой, А. Присмановой, С. Прегель, Г. Раевского, В. Смоленского, Ю. Софиева, М. Струве, Ю. Терапиано, Л. Червинской.

Статьи: А. Н. Бенуа, С. К. Маковского, В. Малянтовича, Г. Адамовича, А. Бахраха, Ник. Бердяева, Б. Г. Пантелеймонова.

Цена 1 доллар 75 центов

Продается на книжном складе Е. Н. РОЗЕН:

International Book Service

Mrs. K. N. ROSEN
410 Riverside Drive, Apt. 141
New York 25, N. Y.

НОВОСЕЛЬЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

№ 27-28

ИЮЛЬ-АВГУСТ 1946

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

ЧАРОДЕИ

Из повести «Очарование».

Наш дом громкий — в улицу — **Буало!** Богат чудесами, заваян чаромутием, напыщен чародеями. И первый чародей из первых чародеев — Николай Николаевич Евреинов.

Евреинов делает знак шляпой — —

Я понял, начну скромнее, из чародеев первый — сосед по площадке, заведующий винным магазином «Николя». «Мамочка» из уважения величает его «Николо», а за ней и другие «клиенты», обладатели штемпелеванных бутылок от «Николя», а на самом деле он Годфруа — Годфруа Буалонский, прямой потомок первого Иерусалимского короля Годфруа Бульонского, прославленного в «Освобожденном Иерусалиме» безумным Тассо. На его лице печать твердости штопора, а тяжелая бутылка в его руке, как невесомая, дорогая нынче, пробка. С ним все здороваются и он со всеми: пятьдесят четыре квартиры — сто восемь литров в неделю, по крайней мере! А до «карточек» каждый квартирант на Елку имел у себя великолепно изданный прейскурант вин «Николя»: какие заманчивые названия — не то что пить, а вчитываясь, хмелеешь.

Новоселье

На Рождество у нас по лестнице и самые трезвые люди шатались — так и знаешь: по прейскуранту!

Единственный магазин в нашем доме: цветочный.

«Цветы и вино, да это рай Божий!» подумал я, в первый раз переступая порог дома; как далек был от мысли, что этот дом своею болью станет мне памятен до смерти.

Еще год не кончился в этом раю, как произошло у всех на глазах чудесное превращение: цветы со своим тайным словом — они говорят глазами, тихие цветы, звучащие лишь там — в звездах, вдруг переменялись в суетливый звонкий цветник. Вчера еще была цветочная лавка, а в обед, гляжу, выходит Жанина. «Парикмахерская Жанины» звонко выцветила дом: Жанина, Одетт, Симона, Сюзанна, Жаннет.

Жанина — первая, отмеченная бомбардировкой 3-го июня 1940 года: в ее цветник саданула первая бомба — и от ее зеркал и флаконов одна стеклянная пыль. Когда сирена торжественно провела отбой, Жанина выскочила из «абри» (убежища) и побежала с ключом — до парикмахерской два шага — все-то ноги себе стеклом изрезала и за эти два шага — и у входа в парикмахерскую все совала ключ; и никак не могла попасть отпереть. Да в том-то и дело, что отпирать нечего было: дверей и помину не было, их только к вечеру нашли: закинуло через улицу во двор госпиталя. Она еще раз повертела в воздухе ключом и потом в руке повернула — и кинула ключ в грудку стеклянной пыли.

И я себя спрашиваю: пришло ли бы в голову хоть кому-нибудь, и не только при трезвом свете дня, но и в безумии «безобразной» ночи, превращать здорово-живешь Жанинино хрупкое добро в стеклянную пыль? Нет, такого на свете нет человека. Чья же это работа? — — — Все преступления против «человека», необъяснимые живым чувством, от Всемирного потопа до Голгофы и от Голгофы до... совершались ради «блага человечества». Но поздоровилось ли когда-ни-

будь хоть одной живой душе от этого «блага»? «Так на-те вам ключ! ваше благо — одна стеклянная пыль!»

И еще я спрашиваю себя: и как же быть человеку «живому, страждущему и поправному» на Богом проклятой земле без мечты о какой-то человеческой, не таковской жизни?

За годы нашествия все переместилось — Париж ушел за Рейн, «прямые» сделались «кривыми», а «кривые» «прямыми», как на Руси бывало в смуту в XVII-м веке.

И переименовалось: Африканский доктор в Опус (ничего общего с Н. А. Оцупом), Чижов — в Холмского, Пантелеймонов в Иерусалимского, а Евреинов в Сюрреализм: так и стояло на афишах: «комедия Шаховского, постановка под сюрреализмом...»



Как тысяча лет тому назад... **Петербург.** Никакой «сюрреализма». Евреинов под кличкой «Остервенелый».

В первый раз я увидел Евреинова на репетиции в театре Коммисаржевской. Репетировали «Ваньку Ключника» Ф. К. Сологуба. Походя, у кого-то из театральных: «кто это?» — я показал на Евреинова. «Остервенелый!» восторженно ответил Семен Иванович.

(С. И. Козаков костюмер, большой выдумщик в своем портняжном деле, он же и улыбающийся актер, без слов; за выступление ему двугривенный, а сколько волнений! — «На подмостках все тело шевелится!» — Я понимаю).

Для поэтичности к «остервенелому» прибавляли «демон» — «демон остервенения». Но это дамское — отголосок постановки «Демона» на Мариинском с Тартаковым.

И с лица, как теперь вспоминаю, и по судорожным движениям и внезапности — название подходило.

Большой знаток и ценитель мужской красоты, **Monsieur Jean Chuzeville**, залюбовался на тогдашнюю карточку Евре-

инова. «Что-то античное!» растроганно сказал старый «шануан» (каноник), и в его «античном» прозвучало мне «Антиной». Карточка, которую я показывал «шануану» была не Евреинова — но ведь важно мое желание, чем показаться или что показать: рабом Антиноем или вольным стрепетом, все равно.

За столом нам случилось сидеть рядом. Я осторожно вглядывался в него, а он, занятый своими представлениями, не замечал меня. Оттого-то, видно, и мелькнула у меня опасная мысль.

«По Петербургу, думал я, ходит с отравленным шприцем тихий доктор Панченко, а Евреинов, какой тихий, только его один голос и слышен, и вот повернется ко мне: заметил! — и с прикусом острейшей иглой — и прямо в сердце, и за-хиха-га-чет».

(Евреинов бесподобно читал на вечерах «Кикимору» из моей «Посолони», передавая задор и жуть ее «га» и «ха»).

Черномаз не по-нашему, ясно, не татарского корня, не сродни и «искателям новой воды», не ушкуйник и никакой стригольник, а из Белой вежи ведет Евреинов свое родословие по прямой линии от черного хазарского кагана — царя Иосифа.

Так, вопреки всяким Лукомским геральдическим изысканиям, определил Евреинова П. Е. Щеголев. А П. Е. Щеголев, как известно, прошел все книги и все языки; и сам Л. Н. Толстой ему еще в гимназическую его тетрадку написал на память: «Думай сам». И Алексей Александрович Шахматов высоко ценил его, помню, присылал ему в Вологду из Академии подлинники писем Гоголя для занятий.

Это было на одном юбилейном собрании на Петербургской стороне — устраивал такие собрания у себя на Большой Дворянской П. Е. Щеголев в воспоминание о нашем скромном вологодском «клубе свободных алкоголиков». Я пришел поздно. Аничков и Бороздин уже сидели перед прозрачной бутылкой, с упреком глядя в дразнящую мигающую точку

— есть такая хмельная посадка, а Переверзев с Ашешовым молча, не глядя, как-то враждебно чокались.

Клюев, попавший на это собрание случайно, он всегда попадал случайно, куда ему нужно было, представлял «святого человека». Он одинаково мог представлять и не «святого», появляясь в смокинге с подводкой глаз в «Бродячей собаке». Но в этот вечер «святой» человек предстоял на пиру у «мытарей и грешников»: скорбно потупив глаза, правой рукой касаясь своего старинного серебряного наперстного креста — крест поверх синей поддевки — умильно и проникновенно, побеждая свою голосовую сушь, «вопрошал», подобно Кирику, мужа премудра и своязычна: П. Е. Щеголев переходил на персидский — таков уж обычай в конце юбилейных да и не юбилейных вечеров.

— А скажите, Павел Елисеевич, — окая вопрошал Клюев, — Евреинов Николай Николаевич из евреев будут?

Щеголев потупился, как бы раздумывая, и протомив Клюева — Клюев уж начал было: «и фамилия такая»... — разразился таким неудержимым смехом — он хохотал от всей души и от всего сердца с воронежским крупчатым раскатом.

Тут вот в первый раз я и услышал о хазарском царе — черном кагане Иосифе Беловежском. Сказано было по-персидски.

По природе непокорный хазар, «остервенелый», Евреинов пользовался всеми правами и преимуществами благонамеренного и благонадежного. И в «Бродячей собаке» среди паскудства рож и рыл и всякого прожига выступал «благородным отцом».

Его имя не «мелькало» ни в каких «Жупелах» и «Понедельниках», он не знался ни с каким каторжным людом, слава Котылева, Маныча, а впоследствии Регинина, прошла мимо него, он участвовал в чинном европейском «Аполлоне», куда с вихрами не пускали (печальная участь моего «Неуемного

бубна» — грех мой, по недуманию, сунулся — и мне изысканно показали на дверь).

«Аполлон» не «Журнал для всех» с редактором В. С. Миролюбовым, прозванным Сенекой: поправил в статье Лундберга Аристотеля на Сенеку (учитель Александра Македонского), и с секретарем Андрусоном — штаны на одной пуговице и та с мясом. «Аполлон» (я говорю про литературный отдел) — это Ин. Ф. Анненский, «Кипарисовый ларец», в застегнутом сюртуке и туго завязанном галстуке; Брюсов в «Весах» тоже всегда застегнут, но как-то по-московски, неприлично, словно бы вместо сорочки приставная искусственная манишка, и без жилетки. «Аполлон» — это Вяч. И. Иванов — петербургский Момзен, и Ф. Зелинский — наш Эсхил, Рим и Афины. «Аполлон» — это Максимилиан Волошин, восторженный антропософский маг, Villier de l'Isle Adam: «Axel» звучало у него, как «Макс» — Париж! «Аполлон» — это Мих. Алекс. Кузмин, «Александрийские песни», ярославский Брюммель, в петербургскую осень и зиму из щегольства без калош и никогда в шубе, подмалеванный, заикающийся, стеснявшийся своей очень уж простоватой фамилии, он писал ее, по старине, без «ъ», а по французски с *de*, что звучало так же чудно, как Чижов, титулованный графом в романе А. П. Осипова (1781-1837) «Постоялый двор»; Кузмин никогда не мог равнодушно вспоминать, как в «Вене» после театра он попросил себе свиную котлету, а тут же за соседним столиком Кузмин — апельсин. «Аполлон» — это Н. С. Гумилев — огумилевшийся Анненский — и Брюсов, как-то выхаркивающий слова: «искусственный (изысканный) бродит журавль (жерав)». «Аполлон» — это Johannes von Günther из Митавы — когда он читал свои немецкие стихи, не отличить было — манера, голос — да это сам Стефан Георге!

Стиль «Аполлона», да то же, что «Весов» (без акарабазы Андрея Белого) — стиль Ауслендера, ученика Кузмина, — под знаком пушкинской традиции, как говорилось, или «пре-

красная ясность». Брюсов, возвращая мне из «Весов» мою «Посолонь», тогда в рукописи, польстил мне своим черезчур красным ртом: «Ваше—как парчевая заплатка на нашем сером сукне». К «серому сукну» присоединялась — дань времени — необыкновенная выпрь, «слякостание костей»: напечатает Евреинов «Реализм монодрамы», а ему в ответ Мейерхольд — поднимай выше: «Театр — здание».

«Аполлон» — это... и тут я себя ловлю: со мной произошел известный анекдот, как в Академическом словаре пропустили «Академию», а Исторический оказался без Цицерона, или со мной повторился досадный случай с Погодиным: Бартенов сделал указатель к Погодинскому «Москвитянину», не забыл и авторов с буквенными подписями, такая тщательность, а самого Погодина нигде не упомянул; пропустил; поправляюсь — «Аполлон» — это С. К. Маковский, душа и вдохновитель. И не счесть, сколько прошло, а он все тот-же — что в Петербурге, что в Париже — «не стареет, не молодеет», как заклятый ведьмой месяц, и на одно только жалоба: «нападает, говорит, дремота непомерная и клювание», — второй Боборыкин, сохранявший молодость ровно сто лет.

Хорошо, пусть будет Евреинов «остервенелый» — «остервенелый Антиной», но никак не «демон». У нас все ведь так: если с носа приставка или мурином торчат волосы, непременно запишут тебя в лешие или в демоны, а у Евреинова от рождения черные локоны благопристойно по плеча, как у отца дьякона, причем же тут демон? Но в остервенении ему никак не откажешь, с этим он тоже родился и кончил Правоведение.

Я играл в Петербурге на любительском театре. Этот мой театральный выход в первый раз и единственный после моих пензенских трагических выступлений на настоящем театре (сослепу сбил кулису), когда я дал себе слово близко и носа не совать к занавесу. А был этот любительский спектакль по

преимуществу писательский. И было это в годы между революциями — когда на всех собраниях и вечерах гремели три имени на «А»: Аничков, Арабажин и Адрианов — они говорили, когда угодно, о чем угодно и сколько влезет; когда в русской литературе первым писателем был Леонид Андреев, затмивший славой и гонораром других первых: Горького, Куприна и Арцыбашева; когда Лев Толстой доживал свои последние дни на земле, а Розанов, по примеру Погодина, копил «короб», записывая искры взблеснувшей мысли на подвернувшиеся под руку клочки и обрывышки; когда о «кошко-давах» — громкая история из хроники литературных происшествий — забыли, а у всех был в памяти «оборванный обезьяний хвост» из звериного собрания абиссинского доктора Владыкина — ценнейший дар Негуса. (Все, кто писал о том времени, конечно, единогласно обвиняют меня — и мне бы теперь ничего не стоило сказать «да, виноват», но говорю чистосердечно, в хвосте неповинен, а кто у доктора оборвал хвост, не знаю).

Спектакль устраивали: Ан. Н. Чеботаревская, жена Ф. К. Сологуба, и А. М. Колонтай. Весь чистый сбор — на партию большевиков.

А помогала в устройстве и распространении билетов Нащекина, известная на весь Петербург не столько своими маленькими рассказами — она служила у А. А. Суворина в «Руси» и изредка ее печатали — а своим необыкновенным, единственным способом носить свой завтрак неприкосновенно. Завернув в салфетку, она складывала провизию не в портфель с рукописями, а себе за лиф: цыпленок, несколько ломтиков хлеба, сыр, икра, масло. И с таким сверхъестественным «бюстом» шла по утрам с Надеждинской по Невскому в редакцию: царские кормилицы ей завидовали.

В пьесе «Ночные пляски» — ее сочинил для такого случая Ф. К. Сологуб — Нащекина играла «Светлого духа», в роде Ангела, а я изображал «Кошмар». И должен сказать, ничего особенного я не заметил: или для предосторожности

весь завтрак съеден был до спектакля, или светлые одежды духа волнами складок скрывали всякое выступление и даже естественное, или просто я всегда очень плохо видел.

А режиссером был Н. Н. Евреинов.

И без всяких «супервизий» могу засвидетельствовать все его исподнее остервенение. Мы, актеры-любители — или малоголосые или скороглаголивые: птичье что-то выпискивалось вместо слов и какой-то дополнительный горловой вылет или вызвук ни-с-того, ни-с-сего, и притом неуместно. И как раз главная актриса и была подвержена этому птичьему повреждению. И вот, несмотря на все наше убожество и безнадежность сделать нас, непутевых, путными, какой был громовой налет и растерзание у режиссера — а что же, представляю себе, когда под его рукой играли не такие, а настоящие актеры, — да прямо сказать: не лез, а вылезал из кожи.



Годы свое берут, терпеливое время все ровняет. От черных льяконских локонов — собачьи лохмы, от Антиноя — одно божественное имя, остервенение остыло — и только отпечаток уже «избитых» приемов, напускных, без сердца. Осталось благочестие Теофила: с постановки «Чуда о Теофиле» в Старинном Театре началась когда-то слава Евреинова. Всякое воскресенье за обедней у Знамения на Микель-Анж вы можете встретить Евреинова: с каким смирением выстаивает он долгую службу с истовым крестом и поклонами. А среди недели бегаёт в какую-то «скопческую» церковь и там подпевает. Благочестие — это его крепкая поддонная память и еще осталась — неподражаемая шляпа.

Во всем нашем Отой такая шляпа полнолунием у Евреинова и у «придворного» фотографа Лиже, а на той стороне Сены у Гротхойзена, известного под кличкой «проводника покойников» по судьбе трех самых блестящих за последнее двадцатилетие парижских журналов: «Navire d'Argent»,

«Commerce», «Mesures», в которых принимал он самое близкое участие.

Но никто не умеет обращаться со шляпой (Гротхойзен вообще не снимает и не выделяет ею никаких двусмысленных знаков за ветхостью матерьяла), никто не снимет и так не покрутит, как Евреинов и Лиже. Это целая наука, как с веером. И за особенный изысканный жест и воздушные «па» со шляпой Евреинова принимают за фотографа: «*portraitiste hors concours*».

Среди знатных особ «обоего пола» русских парижан имя Евреинова всем известно по его «Самому главному». И особенно среди дам. «В Бозе почившая» Елена Николаевна (простые смертные если умирают, так безо всякого и отмечается «помер», а знатым — «в Бозе»), Елена Николаевна, когда говорили о Евреинове, не допускала ни малейшей критики: все, что Евреинов, все «хорошо и лучше быть не может». «Холопское» направление в литературе тянет ту же песню, но Елена Николаевна не писательница и притом никакой корысти. И Боже упаси какой-нибудь намек или сомнение, она впадала в неистовство, все самое оскорбительное падало на вашу голову и ничего не оставалось, как только позорно встать и раскланяться. Я уверен, что тут тоже не без шляпы: невесомая магия движущего плотного вещества.

Тожe знатная — из «обоего пола», лицо духовное, как-то в разговоре об общих знакомых заметил и не без добродушия и даже с каким-то неподходящим умилением: «А когда я встречаю на улице Евреинова, и как он со мной здоровается, я перерождаюсь: я чувствую себя балериной! — и он конфузливо приподнял свою рясу, — да во-истину, волшебник!»

Если не по имени, то по зримому существу, пусть под кличкой «фотографа», знает Евреинова не только весь наш громкий дом, а и вся улица с первого и до последнего дома, как четного, так и нечетного, и наше Шан-з-елизе — улица Отой — от церкви Отой до улицы Эрланже, где на одном углу книжный справщик А. П. Струве, а на другом доктор

С. М. Серов, а в середке Филип Супо, в незапамятные времена «дадаист», или, просто сказать, от Кобла до Морского царя.

**
*

Ни «кобл», ни «морской царь» — это не мое. в этих прозвищах я не повинен, они принадлежат тому вон голландцу, шляпа с пером: всякое утро идет он у всех на виду проверять народонаселение от церкви Отой до Струве и от Струве до Суханова.

Кто у него под именем «кобла» не могу сказать. «Кобл-кобель-коблы» в сказках существа сторожевые с песьми мордами — у кого из нас песья морда? А может, это тоже какой-нибудь голландец с песьей мордой.

Превращение же Суханова в Морского царя произошло с того времени, как вместо голландских сыров и всяких колбас, от маленьких колбасок до размера — не влезает, он вынужден был заняться селедками и развел в своей лавке такой рыбный дух, — «слова немеют, а рыбаку ложная приманка» по замечанию того же самого голландца, шляпа с пером.

Кто он и откуда этот голландец? Имени его, как и имени Евреинова, никто не знает, а в лицо всякий. Говорят, что он австриец, а другие говорят, сумасшедший голландец, но что у него турецкий паспорт. У «Мамочки» тоже турецкий, но деревянная челюсть «Мамочки» и деревянные ноздри, что тут турецкого? А в голландце есть что-то — хотя бы это спокойствие, — это не наше. А деньги держит голландец в Индийском банке и любит ими пыльнуть: сколько раз я видел, как в метро, стоя у кассы и задерживая очередь, вынет он бумажник и медленно перебирает индийские доллары.

Всякое утро, обходя свои парижские владения, голландец норовит идти не по тротуару со всеми, а около тротуара: так и виднее, а главное, почетнее. И правда, простому человеку едва ли на ум придет такое направление мыслей: перед ним, значит, уже не люди расступаются, а улица.

Новоселье

Все и всех пересмотря, голландец отправляется в подводное капище «Морского царя» с докладом о сухопутном своем обозрении.

И. Н. Суханов, обычно в шляпе, как в царском венце, — у всех на виду восседает на своем престоле за кассой. При появлении голландца он легко, необычно, подымается и стоит, замерев Барклаем. (Беру образы из «Отечественной войны» с Казанской площади, памятные мне по Петербургу).

И оба проникновенно смотрят друг на друга.

И голландец начинает свой доклад. Доклад его без слов, но с необыкновенными церемониями и театрально — театральность выражается в жестах: руки его то парят, то низвергаются, и сам он как бы падает со стелящимся широким размахом.

Суханов, из Барклая превратившийся в Кутузова, одобритительно кивает.



Голландец убежден, что подвал, откуда выносят ему селедку, морское дно. В подвале же стоят, прикованные, на серебряных цепях, крылатые морские кони. На этих конях ровно в полночь Морской царь (Суханов) в жемчужной короне, без штанов, чтобы не замочиться, разъезжает, ловя копченую селедку. Тут же она и солится в серебряных «мироваренных» чанах под кареловым навесом, а все вместе с рассолом раскладывается в промасленные бочки, — и подводными путями отправляется при особых водяных знаках, заменяющих фактуру, во все концы света, преимущественно же в Индию.

Александр Александрович Вознесенский и Андрей Лаврентиевич Ермолов, служащие у Суханова, морские конюха и «солисты» (рыбосолы). Был и третий, морской же конюх, Василий Иваныч, но его в весеннее половодье, по неосторожности, проглотил арктический кит... «шныряя на Gare de

l'Est в темный час, когда не полагается выходить из дому». (Объяснение не совсем ясно: тут или пробел в мыслях голландца или с чем-нибудь путается посторонним).

Если случится в магазине брат Морского царя (Мих. Н. Суханов), голландец соблюдает особенную осторожность — больше всего боится встретиться глазами. Голландец убежден, что Мих. Н. Суханов — морской пардус: в чем-нибудь не потрафишь или «пардус» не в духе, сграбастает и съест с косточками, не пощадит и шляпу с пером — «и ног не соберешь». Отводя глаза от морского пардуса, голландец пересчитывает у себя ноги — «раз-два, раз-два...»

Анна Ивановна Суханова, жена Михаила Николаевича, — пленная персидская принцесса, похищена «пардусом» на Цейлоне: она приплыла на «дно морское» (в Сухановский подвал) подводными путями в жемчужной раковине, установленной на чайном подносе при водяных знаках, на подносе несколько пакетиков чаю по 100 грамм — «Липтон».

Семен Лазаревич Кугульский, завсегдатая в магазине у Суханова, бывший Великий Муфтий, подосланный царем обезьяньим Асыкой «наводить беспорядок» и развлекать Морского царя сказками из «Тысяча и одной ночи» на русалочьем языке и обезьяньем по выбору. Анна Николаевна, поставщица замечательных пирожков со случайной начинкой (не такое время, чтобы разбираться и пальцами тыкать, бери, что дают и за то спасибо), Анна Николаевна — Жар-птица, ее голландец тоже побаивается: ему все кажется, что она сключет его, как «горчичное зерно» и когда он встречает ее, он надувается и вертит головой шмелем.

И когда Шура, младший служащий, подал кетовую икру, голландец не без робости принял сверток: он убежден, что Шура мечет икру в подвале — на дне морском.

С селедкой или с икрой, зачарованный рыбьим духом, пятась к двери, голландец прощается с Морским царем, выделявая своей шляпой с пером выразительные фигуры под Евреинова.

— В святой час — в святой час! — напутствуя, бормочет Суханов ему в след.

Как-то голландец зашел к Суханову из бань. Час был не для доклада, но голландцу по дороге: магазин на углу.

— Изволили освежиться дарами Нептуна? — забывшись, обратился к нему Суханов по-русски.

И эти слова, впервые прозвучавшие голландцу, — обыкновенно делает ртом какие-то немые рыбы знаки, — и из всех единственно понятное «Нептун», произвели потрясающее впечатление.

Голландец опустился на колени, молебно простер руки и смотрел на Морского царя с умилением и восторгом: перед ним был живой говорящий Нептун.

Прошло по крайней мере с час, а голландец все стоял на коленях в сиянии Нептуна и на все уговоры подняться, урча, отпихивался «солеными» руками. И только всей артелью — все морские конюхи с серебряными подковами, Морской пардус и Цейлонская принцесса, случившийся бывший Великий Муфтий, и Жар-птица с пирожками — надсадясь, восстановили его.

И как всегда, зачарованный рыбьим духом, пятясь к двери, голландец простился с Морским царем, наиграв своей шляпой с пером — под Евреинова.

— В святой час — в святой час! — напутствуя, бормотал Суханов ему вслед.

А какая разыгрывается пантомима приветствий и расположения, когда где-нибудь около кафэ встречаются наши светила — достопримечательность Ютой: Евреинов, Лиже и голландец.

По теперешним временам, когда только и видишь, как страх и тревога корчат человека, увидеть такое — да и на театре едва-ли, а только приснится.

На углу Лафонтен кафэ — с видом на кинематограф и наш базар. За столиком, выдвинутым на тротуар, в прежние времена можно было увидеть «Мамочку» и Надюшу.

«Мамочка» с грудным щенком: она его носит с собой, как Нашекина свой исторический завтрак; конечно, не совсем за лифом, мордочка торчит из-под лифа, чтобы и ей самой и кому-нибудь из знакомых можно было погладить. Она с ним всегда разговаривает, когда он беспокоится, а беспокоится он, когда, бывало, ест она и чаще всего не в кафэ, еда там не очень соблазнительная, а у Суханова. Обыкновенно стоя, она уписывала жареные «чуевские» пирожки и всегда уговаривала щенка слушаться свою «мамочку» — отсюда и пошло прозвище «мамочка». А зовут ее не то Офелия, не то Медея, но чаще ее называют просто Медуза.

Надюша — неизменная спутница, про нее только и скажешь, что она вся прокурена: и лицо и руки, она всегда с папиросой. Этим только она и была известна, и никто и никогда не подозревал в ней никакой музыки. И только совсем недавно оказалось, что она певица: по вечерам поет в кафэ на Мюет и пользуется большим успехом. И если в кафэ она сидит одна без «Мамочки», все-равно ее из всех сразу узнаешь. С каким мечтательно-жадным взглядом она курит свою папиросу, — она зачарована своим пением: она мечтает не о том, как вечером будет петь, а как пела вчера, она слышит свой прозвучавший голос — отзвук вчерашнего вечера.

Тут-то на перекрестке Ляфонтэн и Отой под очарованным взглядом Надюши и происходит незабываемая единственная встреча: голландец, Евреинов, Лиже. Голландец, очарованный Морским царем, гордо выступает в своей шляпе с пером от Суханова; Евреинов в очаровании самим собой стремится к Суханову; Лиже идет, раскланиваясь с прохожими (первое время я его считал за собачьего доктора), он идет, подпрыгивая, — так в Петербурге на глазах Пушкина и Бестужева-Марлинского подпрыгивали великосветские «львы» и «денди»

Новоселье

на Невском и в гостиных, зачарованные Вестрисом и Дюпором.

Эта встреча — игра шляп, перекрещивающихся взглядов и улыбки, какой улыбки! Тень Кальдерона подымалась среди нас, зрителей, всегда в чем-то виноватых и ошелюмованных.

Как призрачна наша действительность. Голландец, зачарованный Сухановым — Суханов ни душой, ни телом не повинен, и в голову ему не приходило употреблять какое-нибудь колдовское приворотное средство, а между тем, голландец чувствует себя во власти Суханова, он только «раб рыбий», подчиненный Морскому царю, и в чем-то рыбоподобен, а за последнее время и безгласный, в самом деле, кто из знакомых слышал голландский голос? А зовут его Фердинантом, моя догадка.

Лиже с походкой Вестриса и Дюпора, чародеев и мастеров танца... Я снимался у него. Самая старая фотография в Отой: и дед, и отец фотографы; лучший в Париже фотографический аппарат с каким-то особенным стеклом — такого стекла теперь не делают и не найти; с детства наука отца — золотые и бронзовые медали и свои и отцовские — целая коллекция, дипломами завешены все стены; насиженные кресла, испытанный свет, освещение на любую погоду, а час безразличен — дедовские занавески соотнобразуются и с солнцем и с дождем. Зачарованный «головками» и «позами» он всегда в немом восхищении и только какие-то звуки, похожие на всхлип, этими всхлипами прорывается его восторженность и все перелентивается хихиканьем. Весь наш Отой живет в его опозтизированных фотографиях: от бабушек до внучек.

И почему голландец — сумасшедший, а с Лиже можно иметь дело? Тоже и про Евреинова.

Евреинов, замороженный собой — ни «Суханов» и ни-

какие «бабушки и внуки», это не его! его душа заверень игры — неудержимая речь и представление. Тема — воспоминания о встречах с театральными знаменитостями и про Америку. За двадцать лет от этих знаменитостей ничего не осталось, но под его чарами и безымянные блистают живыми именами. Другой раз и понять невозможно, о ком это? и все-таки, не вникая, развесишь уши — так льется-заливается речь и ходят руки. А еще и то очень ценно, что никакого ответа от тебя не требуется: и вопросы и ответы в нем самом — в его самозачарованности. Он актер, он же и зритель. Евреинов — театр.

Paris

1946

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАССВЕТ

В выси течет беспредельная,
Суровая тишина,
Стучит в окно корабельное
Затерянная волна.

Лучи кружат одинаково,
Пронзая тонущий лед,
За отмелью, над Очаковым
Густое пламя встает.

Смолу канаты похитили,
Кивнули снасти хитро,
И вдруг зарделось кителя
Туманное серебро.

Судьбою здесь мне завещаны:
Кольцо в дыму потолка,
Графины грузные в трещинах,
Стакан в свинцовых тисках,

И эти чайки сердитые
На паруса обшлагах,
И шлангом зари омытые,
Высокие, именитые
Большой земли берега.

В МОЛЕЛЬНЕ

Синий сумрак ресницами соткан,
В грязной меди фитиль изнемог,
И ладони взлетают, как щетки
Над огнем глянцевитых сапог.

Безысходностью согнуты спины,
Виснет в кольцах сухая рука,
Шелестят ледяным нафталином
Полы вытертого сюртука.

Свет бежит, о скамью опотыкаясь,
Тень от лампы устала мелькать...
Наклоняется сморщенный Каин
Над курчавым подростком опять.

Он безвинную жертву заколет
В легком блеске лазурной травы, —
Плачет бог на мохнatom престоле,
Стонет пастор в очках роговых,

И святые опять багровеют
В паутинной одежд бахrome,
И чистильщик с глухого Бродвея
Входит в тмна текущий размер.

Подгибаются с треском колени,
И страницы шуршат на парче,
И педали гудят о терпеньи,
О смиреньи,
О набожном тленьи
Средь останков последних свечей.

САЛОМЕЯ

Когда подъезжаешь к Тивериаде с пшеничных полей Эмека, издали Генисаретское озеро, — море, как его называли склонные к преувеличению апостолы, — синее среди бесплодных лунных гор, как сапфир королевской короны, как синька, как синее море на плакате трансатлантической кампании, как самые синие в мире женские глаза. Счастлив путешественник, который имел случай в своих странствованиях насладиться подобной красотой.

Я видел эту синеву, я бродил по улицам Тивериады, я ел в тивериадской харчевне потомство тех рыб, которых улавливали в свои mreжи Петр и Заведей.

Арабские кварталы в Тивериаде — деревня. Узкие, кривые улицы, библейские домишки из камня и глины, запах деревенских нужников, навоз, жаркое стадо овец, вдруг пробегающее с шорохом мимо летных дьявольских копыт по пыльной улице, пение петухов. Жара в этих местах летом превращается в адское пекло.

Я шел по одной из таких улиц и вспоминал о событиях, которые здесь происходили — о пирах и интригах Ирода, о танцах легкомысленной Саломеи. У ворот одного из домиков стояла тоненькая арабка с незавешенным лицом, очевидно бедуинка или христианка из Сирии. Спрятав одну руку за спину, она теребила другой нитку дешевеньких голубых бус на смуглой детской шее. Она упиралась лопатками в столб ворот и вся выгибалась в грациозно-варварской позе. На девушке была розовая кофоточка и черная юбочка. Одну босую ногу, маленькую и трогательно тряскую, она поставила на другую, и как бы в смущеньи, но не без лукавства, тере-

била бусы и смотрела исподлобья на проходившего мимо иностранца в белом костюме и с кодаком в руках.

У нее было типично арабское лицо — неправильное, с низким лбом, с зачесанными назад черными волосами. У нее были косички, в которые она вплела какие-то красные тряпочки, прелестный короткий нос и крупный свежий рот. Но самое замечательное на этом лице были ее глаза. Для описания таких глаз потребны были бы самые банальные описательные приемы авантюрных романов. Нужно было бы сказать о необыкновенно длинных ресницах, от которых на женские нежные щеки падает тень, упомянуть о черном бархате арабских ночей и о многих других поэтичных вещах. Если бы такие глаза появились на экране, это была бы мировая слава. Какая-то неописуемая красота сияла в них и остановила меня своим светом, как сильной и упругой ладонью. Нельзя было не остановиться. В такие мгновенья сладостно сжимается сердце. Мое волнение было совсем близко от слез, от того клубка в горле, который возникает иногда при виде чего-нибудь прекрасного, бренного и неповторимого.

Мелькнули синеватые белки ее глаз. Я сказал по арабски:

— Здравствуй!

— Здравствуй, господин, — ответила она в смущении, улыбаясь, точно подавившись слюной, которая обильно наполняла этот варварский прекрасный рот, сияла на ее зубах, лежавших в ее улыбке, как горошины в стручке полных губ.

Но в это время в воротах появились два босых араба. Вертув юбченкой, девочка скользнула во двор, где пел пелух. Арабы сурово посмотрели на меня. Один из них, в белой галибии, был с черными усами, с какими на арабских лубках в Дамаске изображают Саладина. У него под тонкой кожей выбритого до праздничного блеска лица ходили железные желваки. Другой араб, красноносый старик с седой бородой, тоже в белой галибии и в желтой чалме, рассматривал меня с крайним любопытством, шевеля губами.

Нельзя на Востоке показывать, что вы испытываете

страх. Время было тревожное. В Палестине свистели предательские пули. С самым непринужденным видом я проследовал дальше, беззаботно насвистывая, не торопясь, весь еще в сиянии прекрасных женских глаз.

На улицах и на небольшой площади, где был городской водопровод и каменный водоем для скота, кричали и плакали арабские дети с голыми рубенсовскими животами. Женщины в черных одеждах, не снимая серебряных браслетов, стирали в медных тазах жалкое белье. Они стрекотали и смеялись таким счастливым смехом, как будто были не женами бедняков и погонщиков, а царицами. Повсюду была бедность и грязь. Мухи кружились над детскими глазами в гное. А ведь когда-то здесь стояли портики и звучали изысканные греческие стихи.

Вечером я вернулся в отель, стоявший на берегу озера и смотрел в окно на лиловеющие воды, на патетические горы на противоположном берегу. Потом я вынул из чемодана Библию, которую взял с собой в палестинское путешествие, чтобы украсить иногда библейским цветком свои очерки о сионизме, и прочел у Марка:

Настал удобный день, когда Ирод, по случаю рождения, дал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним...

Этот пир, хотя и устроенный по случаю дня рождения Ирода, не был семейным праздником. За столом находились многочисленные гости, придворные, представители местной общественности. Вероятно, среди них был управитель тивериадского дворца Хуза и его склонная к религиозным исканиям супруга. Может быть, за этим столом присутствовал Манул, о котором в «Деяниях» говорится, что он был товарищем тетрарха по школе. Рядом с ним возлежали на почетных местах римляне. Едва ли праздник удостоил своим высоким посеще-

нием Понтий Пилат, надменно относившийся к иудеям прокуратор, но наверное среди гостей был тот сотник из Капернаума, о котором довольно подробно рассказывают евангелисты. О пирах Ирода упоминают в своих стихах некоторые римские поэты. Возможно, что и в тот день за столом возлежал какой-нибудь заезжий стихотворец из Рима. Развлекать собрания такого рода в античные времена было уделом профессиональных танцовщиц и рабынь. Впрочем, в распушенном Риме принимали участие в публичных выступлениях и знатные женщины, жены сенаторов и патрицианки. Таким образом танцы Саломеи не были чем-то необычным.

Царь сказал девице: проси у меня чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей: чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства.

Ирод не был царем. У него был титул тетрарха. Когда умер старый Ирод, Израильское царство было поделено между его сыновьями на три части. Тетрархом Галилеи стал Ирод-Антипа, Трахониду получил его брат Филипп, Иудея и Самария достались старшему брату Архелаю. Когда последний умер, римляне превратили Иудею в обычную провинцию с прокуратором в Кессарии Приморской.

Она вышла и спросила у матери своей: чего мне просить? Та отвечала: головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей (Марк 21, 21-26).

Я опустил книгу на подоконник, и прочитанная страница наполнилась для меня музыкой и шумом древнего пира. На Востоке у женщин такие необыкновенные глаза, что трудно

отказать красавице в исполнении даже фантастической и жестокой просьбы. В один из своих приездов в Рим Ирод-Антипа увлекся на свое несчастье умной и красивой Иродиадой, женой одного из своих братьев, проживавшего в Риме на положении частного человека. Честолюбивая красавица бросила мужа и возвратилась в землю предков. С ее приездом Тивериада стала гнездом политических интриг. В Риме Иродиада видела пышную жизнь господина мира, жила среди образованных людей, присутствовала в цирке на ристаниях и гладиаторских боях. Вернувшись в Галилею, она стала мечтать о царской диадеме. Саломея была ее дочерью.

Саломея приходилась внучкой последнему из Асмонеев, которые славились своей изумительной красотой. Может быть, свет этой красоты озарял и Саломею, и потому так действовали на возлежавших за столом Ирода ее танцы.

Лиловели сирийские горы. Стихала жара, превращаясь в вечернюю духоту. Я размышлял о событиях, которые произошли на пиру Ирода.

— Эпизод с усекновением главы мог попасть в евангелия только из рассказов каких-нибудь простых людей, слуг или рабов, что толпились в дверях пиршественной залы и смотрели украдкой на танцы Саломеи. В их глазах самым простым объяснением для страшного события было — приписать все жестокой просьбе полутолой блудницы. Но нельзя ли объяснить некоторые подробности этой трагической сцены желанием Ирода подражать эпизоду с головой Красса, описанному у Плутарха?

Этот писатель сообщает о гибели Красса и разгроме его легионов в Парфии, и со страниц его книги одинаково веет бурей языческих страстей и чисто христианским ощущением бренности непрочного мира. На празднестве, устроенном по поводу парфянской победы в Ктезифоне, актеры разыгрывали перед варварским царем и его гостями трагедию Еврипида «Вакханки». Когда рабы внесли в пиршественную залу отрубленную голову Красса на блюде, один из актеров схва-

тил ее за волосы и продекламировал знаменитые стихи об охоте:

Мы несем с гор только что убитого оленя.

Мы спешим во дворец царя. Рукоплещите трофею охоты!

От стихов бессмертной трагедии, от вина, от страшного зрелища отрубленной человеческой головы с полужакрытыми синеватыми веками, со страшным оскалом зубов, присутствующими овладело иступление. В упоении победой, взирая на голову того, кто еще недавно потрясал римским оружием весь Восток, а ныне был подвергнут казни, участники пира рукоплескали. Царь, обезумевший от радости и своего могущества, разомлевший на теплом ветерке страусовых опахал, промолвил, — владыка миллионов людей и рабов, в диадеме, сверкая белизной своих зубов:

— Налейте ему в рот расплавленное золото. Пусть этот римлянин насытится наконец металлом, которого жаждал всю жизнь...

Тивериада. Кессария Приморская... Стоит закрыть на минуту глаза, и эти отвлеченные для нас названия наполняются жизненным шумом, уличной суетой, криком базарных торгов, а в гавани полощат паруса того корабля, на котором плывал по морю Ирод, когда он посетил Рим.

В каменной Антиохии, которая как орлиное гнездо возвышалась над Иерусалимом, хранились в запечатанных ларях облачения первосвященника. Чтобы получить их для богослужения, священники должны были проделать ряд канцелярских формальностей. Римляне формировали вспомогательные палестинские части из самарян, ибо непреложность, с какой иудеи исполняли субботний отдых, могла бы помешать распорядку гарнизонной службы. Входя в иудейские города, римские легионеры закрывали воинские значки с изображением вепря чехлами, чтобы щадить религиозное чувство иудеев. Понтий Пилат жил в Кессарии Приморской.

Какое отношение все это имеет к Саломее? Но ведь она тоже жила в этом мире, среди этих людей и переживаний. Кто рукоплескал ей?

Ирод-Филипп унаследовал семейную черту — страсть к строительству. Его владения лежали среди язычников, на границе с Дамаском. Столицей тетрархии была Кессария Филиппова, построенная на месте древней Паней, уголка Эллады в иудейском мире, у истоков Иордана. Другим городом в его области была Юлия, названная так в честь дочери Августа. Колонны этого городка стояли среди рыбацких хижин Вифсаиды, что значит «место, где сушат рыбу».

Такой же страстью к возведению зданий и городов отличался и Ирод-Антипа, попавший случайно в евангелия. Из его строительных предприятий следует отметить восстановление разрушенной Варом Сепфориды и постройку среди песков и скал Переи мрачной крепости Махерон. Потом этот эстет и любитель балета и стихов построил себе новую столицу на берегу озера, подобострастно назвав ее в честь императора Тивериадой.

Дворец тетрарха был украшен недозволенными иудейским законом мраморными львами, которых потом разбили фанатичные воины Иосифа-Флавия. Вероятно, в городе был построен также храм Риму или Миру. Город был расположен на местонахождении старого кладбища, что считалось осквернением еврейского жилища. Может быть, по этой причине Иисус никогда не заходил в Тивериаду.

Об Ироде мы знаем очень мало. Однако выбор места для новой резиденции на берегу синего озера, в декорациях горного пейзажа, свидетельствует о большом вкусе тетрарха, повидимому, понимавшего толк в красивых вещах.

В этих маленьких галиллейских столицах весьма охотно подражали величественным образцам Рима или Александрии, римским модам, римскому разврату. Тивериада была маленьким Римом на берегу синего озера. В ее домах и дворцах находили отклик все события, происходившие на Тибре, но с

запозданием, которое измерялось рейсом античного корабля из Остии в Кессарию Приморскую. Из Рима или Александрии сюда приходили книги, эпиграммы, сплетни и сенатские постановления. Трагические подробности смерти Иоанна Крестителя тоже заставляют думать о подражании.

Иоанн, один из пророков той эпохи, был арестован за распространение «ложных слухов» и за агитацию против предрешающих властей. Но этот человек, носивший одежду из верблюжьего волоса, питавшийся медом диких пчел и вызывающими наше изумление «акридами», вероятно, кузнечиками, уже по одному роду этой пищи не мог быть опасным политическим преступником. Во всяком случае для его казни требовалась конфирмация смертного приговора прокуратором, который один в стране обладал *jus gladii*, — правом применять меч. Но, может быть, под влиянием винных паров, в упоении танцами прелестной Саломеи, Ирод совершил непоправимое. У людей с таким характером, как у тетрарха, вино вызывает непреодолимое желание совершить что-нибудь, вызывающее удивление людей.

Может быть, в эту минуту подвернулся список сочинения какого-нибудь историка, рассказывающего о гибели Красса и об эпизоде с его головой на пиру парфянского паря. Может быть, об этом событии говорил один из возлежащих за столом римлян, участник несчастного похода в Парфию. Может быть, Ирод желал поразить присутствующих или дать себе возможность пережить острое ощущение. Глаза Саломеи сияли. Его жена тоже считалась красавицей, но в детском теле танцовщицы была та прелесть, которая вызывает у мужей в расцвете ума и силы нечто подобное сладкой грусти...

Толпившиеся в дверях пиршественной залы простодушные люди, рабы и служители, видели, как Саломея плясала, как с ней разговаривал Ирод и, может быть, подражая манере римского патриция, поцеловал ей руку. Затем в залу была принесена на блюде страшная голова с полужакрытыми остекляневшими глазами.

Над Иродом, как над парфянским владыкой, веял ветерок страусовых опахал. Глаза Саломеи, изумительные глаза Асмонеев, глаза Мириам, ради которых сходил с ума старый Ирод, сияли. В зале звенела музыка арф и флейт. С потолка падали розы...

Я был в Тивериаде. Я ел там в грязной арабской харчевне рыб, которые были потомками рыб чудесного евангельского улова или той самой рыбы, во рту которой Петр нашел динарий, чтобы уплатить храмовой налог. Я видел в Тивериаде необыкновенные женские глаза. Я нашел среди гальки Галилейского моря кусочек мозаичного пола, может быть, из той залы, где танцевала Саломея. Я думал о том, что мы, русские поэты, похожи на мечтателей и беспокойных людей, которые жили на этих берегах две тысячи лет тому назад, и что нам часто мешает спать по ночам такая же необъяснимая тревога за судьбы мира.

Что танцевала Саломея? Кордакс, против которого метала громы и молнии церковь или «танец семи покрывал»? Об этом ничего не говорит даже словоохотливый Иосиф-Флавий. Но несколько евангельских строчек воскрешают прошлое:

Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним...

Саломея кружилась на черно-белых квадратах пола, усыпанного розами, и побледневший от вина, нарядный, завитой, надушенный Ирод с улыбкой смотрел на ее движения, на линии ее тела. Он улыбался тонкой улыбкой знатока красивых вещей. Так улыбаются интриганы. Это был умный политик, лавировавший между римскими требованиями и народными чаяниями свободы. Об его хитрости говорили в караван-сараях и в синагогах. Может быть, потому так правдоподобно и убедительно звучат в евангельском рассказе слова Иисуса о тетрархе, когда равви передали, что Ирод желает его видеть:

— Скажите этой лисице...

Невозможно было бы придумать и вложить в уста про-

рока такие житейско-правдивые слова, от которых веет реальностью обстановки.

Розовые и белые перья опахал медленно и ритмично покачивались над черной завитой головой Ирода. Что он мог положить к маленьким ногам Саломеи? Сидонский пурпур, флаконы с благовониями Аравии, серебряный сосуд, ожерелье с индийской бирюзой, покрывало, привезенное купцами из далекой Серики. Но он поразил ее не подарками, а своей властью над жизнью и смертью людей. Он сказал:

— Отрубите голову Иоанну и принесите ее в пиршественную залу на блюде!

Саломея смотрела огромными, расширенными от ужаса глазами на голову пророка.

Париж, 1946.

АННА ПРИСМАНОВА

ГРОЗА

Блистательно вздымает месяц новый
над городом свой одинокий рог.
Залогом счастья в образе подковы
лежит он на скрещении двух дорог.

Сушь разума — и сердца излиянья,
воздушный путь луны — и груз страстей...
Но есть в кресте дорог — квадрат слиянья,
и зрелище грозы — из двух частей.

Гроза и страсть — явления природы,
без коих воздух жизни слишком тих.
Но нам в грозу нужны громоотводы,
чтоб молния могла вонзаться в них.

Жена слаба: едва-ль она забудет,
что вышла из Адамова ребра.
Но пусть в грозу всегда со мною будет
стальной отвод чернильного пера.

Высоким острием души приемлю
неотразимый и неожиданный дар.
Но усмирено удалится в землю,
пройдя по стержню, молнийный удар.

ПАСТУХИ

Дает заря в горах старинную картину,
вершине воротник из облака края.
Не в силах я любить долины середину,
глазам моим нужны одни ее края.

Там вижу я цветы возвышенных растений.
За Эдельвейсом вверх идут слова стихов.
Но смогут ли слова дойти до сновидений
невидящих себя блаженных пастухов?

Играйте на дуде, на палочке с дырою,
отсутствующий взгляд вперяя в небеса.
Для вас небесный свод стал родиной второю,
и слышите вы там свои-же голоса.

На синей высоте заря рождает розы.
Но розами цветет не только высота:
таким цветком встает гармония из прозы,
а без нее, увы, и высота пуста.

ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ

Грех Муравья, по существу, не был смертным: в другое время он отделался бы вероятно несколькими годами каторжных работ или одиночного заключения. К сожалению, ряд случайных обстоятельств усугублял его вину. Так например, Город, с недавнего времени, был объявлен на осадном положении; все преступления особого характера подлежали суду военно-полевого. Отдельные вспышки саботажа и террора все больше и больше принимали характер организованных бунтов; возмутители подстрекали народ к вооруженным бесчинствам, миазмы пропаганды обволакивали все слои населения, разлагая как снобов, так и плебс. Нашли прокламации даже в стойлах у тлей; безумные демагоги обновили и этот смехотворный лозунг — раскрепощение тлей (называя их добровольное сожительство с муравьями — эксплуатацией)! В довершение нашли большой склад динамита и автоматического оружия — как полагается, иностранного происхождения. Дело становилось серьезным. Надо было действовать — быстро, решительно. А действовать было трудно, ибо ответственных руководителей этих потуг обнаружить не удалось; задержали только нескольких безграмотных рабочих (из инородцев), нескольких выродившихся хулиганов (бывших санитаров или солдат), да с десятков тлей. Предавать суду некультурных хамов казалось бесполезным: их можно выпороть на конюшне, казнить. Тлей же судить было вовсе зазорно (да и опасно создавать такой прецедент).

Полиция искала главарей движения, или по крайней мере особ, коим главенство можно приписать. Таков был наказ. Парализовать революционные силы и, во всяком случае, оправдать свое существование. Кроме того, известна была за-

таенная мечта Генерал-Президента — переспорить бунтарей. Он наивно думал, что диспут с мятежниками пойдет в прок: если не закоренелых доктринеров, то по крайней мере сочувствующих им — удастся переубедить. К этому он готовился издавна. Генерал-Президент верил в здравый смысл и патриотизм своих сограждан. Тут то и подвернулось дело Муравья. Повлияли еще причины декоративного характера. Так например самая внешность Муравья свидетельствовала о том, что он — вождь. И преопасный. У администрации в этом смысле нух отличный. Из дворян, большой культуры (сочетая ее с выдержкой и отвагою боевого офицера), талантливый молодой мыслитель, Муравей был отмечен в кругах так называемой передовой интеллигенции — раньше или позже мог стать властителем ее дум. Правда, популярность эта пошатнулась со времени его странного религиозного уклона (факт, администрации еще не известный).

Так был задуман сей показательный процесс. Сразу же обнаружились бесчисленные затруднения. Если позволить муравью свободно высказаться — вероятно, трудно будет взвалить на него ответственность за вульгарные прокламации, иностранное оружие и прочие преступные затеи. Решили слушать дело при закрытых дверях: опубликовать только речи Генерал-Президента. Реплики ему должен был подавать агент охранного отделения, раскаявшийся анархист, лет десять уже отражающий настроения крамольных групп. Муравья же покажут только на первом, коротком, публичном заседании, — больше не будут утруждать, — храня его для помпезной казни: по всей видимости, к этой роли он вполне подготовлен.

Это заседание по началу можно было считать весьма удачным. Многоликое, многокрасочное: высший свет, пре-красный пол, артисты, дипломаты, военные. Где то в глубине, за барьером, в ложе, окруженной жандармами, показали бледного Муравья, внешности действительно некоторым образом опасной, удручающей. Против ожидания, говорить он

не стремился; все казалось чинным, праздничным, — точно в церкви или в опере. На отдельной трибуне усадили его родных, кормилицу, невесту (пухлая, уютно сбитая, стриженная шатенка); фигурировала еще одна девица, с темными, большими, неотступными глазами: то что в Городе называли — Вдова.

В этом древнем Городе искони существовал обычай, дававший право каждому зажиточному гражданину иметь, кроме официальной жены, еще так называемую Вдову: особа, которая при других обстоятельствах могла бы стать его супругою. Она пользовалась всеми правами законной, носила имя того, по ком «вдовела», — но он оставался всегда недоступен: мертв! Заключали этот вдовый контракт, по взаимному соглашению, существа, коим чудилось, что они метафизически созданы один для другого; предполагалось, что в следующей жизни они то и будут соединены навеки. Расторгнуть такой контракт, как впрочем и брачный, и даже помолвку жениха с невестою, в этой стране считалось недопустимым.

Больше всего тяготила Муравья навязанная ему роль лидера: хотя на предварительном следствии неоднократно заявлял, что никого не представляет, теперь однако он чувствовал особую ответственность за каждое слово и (он не знал разумеется всей подоплеки), предполагая, что его заставят высказаться, — не будучи уверен в своих качествах, — с ужасом и тоскою ждал этой минуты, бесплодной и утомительной.

Несмотря на угрюмую обособленность, впечатление произвел скорее хорошее: нечто честное, сердечное, внимательное почудилось вдруг многим; увлекающийся Генерал-Президент странным образом даже полюбил его (почему-то вспомнил собственного сына, гвардейского офицера, кончившего недавно самоубийством). Генерал-Президент, старый солдат, бурбон, в молодости своим туловищем заткнул жерло неприятельской пушки. Артиллерия здесь приводится в действие электрическим током; лапки его, очутившись между

контактами, мгновенно обуглились и стали изоляторами: таким образом орудие смолкло, и эскадрон, следовавший за своим командиром, взял укрепление в конном строю. Благодаря искусству хирургов и собственной неистребимой живучести, Генерал-Президент, тогда еще только ротмистр, уцелел; ему высоко ампутировали конечности (злые сплетники утверждали, что и пупок у него металлический); благодаря специально изобретенному протезу, он сохранил возможность передвигаться — быстро зашагал в гору. Орден за орденом, чин за чином. Генерала вскоре, как национального героя, избрали Президентом; в музее на главной площади хранились его конечности, в том состоянии, в каком их достали из пушки. Эти нетленные останки сделались целью паломничества для полноправных граждан: в национальные праздники мимо музея шествовали ремесленники, саперы, солдаты и школьники.

Сей бравый, грубый, но справедливый воин пожалел вдруг Муравья (сын его за некую сомнительную шалость должен был подать в отставку и кончить самоубийством); он тут же, стремительно, ни с кем не советуясь, решил изменить основной план и даровать Муравью жизнь — если последний в надлежащей степени покается. Речь свою Генерал-Президент составил целиком самостоятельно; только переписали ее и в смысле орфографии, стиля, почистили — секретари. Но характер его, — предприимчивый, — не был совместим с чтением по шпаргалке. Вдохновляясь, Генерал-Президент временами совершенно забывал про свою рукопись и, таким образом, произнес если не ту же самую, то во всяком случае замечательную вводную речь, страдавшую разве только некоторыми повторениями; собственно, он рисовал два контура (импровизация и рукопись), капризно переплетая их темы.

Отечество. Страх за его судьбу. Любовь к его славе и памятникам к могилам отцов. Верность их заветам. Там на

рубежах столетиями рубились предки, не жалея крови, ратовали за свободу и величие Родины. Вот основные точки.

Как трудно собрать, построить Город. Тысячелетия. Да, законы многие еще не совершенны, но все же они дают возможность Городу функционировать, жить, творить. Генерал-Президент позволил себе даже художественное сравнение: как таинственна жизнь ребенка, так чудесен организм Города, и как легко убить, задушить младенца, так легко умертвить, оскопить Город.

Просвещенные законы позволяют реформаторам обращаться в Сенат с разумными предложениями; если эти нововведения благо для всех — Сенат не откажется их утвердить.

— Я говорю: для всех! — подчеркнул Генерал-Президент.

Ибо Город есть симбиоз хороших и дурных, передовых и отсталых, дряхлых и юных, талантливых и выроdkов.

— Законы, как учил Платон... (Генерал-Президент, — самоучка, — любил цитировать классиков). Задача управления именно в том, чтобы позволяя существовать и развиваться Элите, принимать во внимание однако и нужды других, численно подавляющих слоев населения. Этого требует жизнь. Приходится искать форму равновесия.

«Вот в результате тысячелетнего обновляемого чуда, борьбы, подвигов, жертв, таинств, мучительного, безымянного труда, мы можем похвалиться: Наш Город. Да, его институты еще не совершенны. Но где же лучше? Вы, что ли, постройте? Согласен, у нас многое худо, но по крайней мере мы существуем реально в жизни, а не только в мечтах, мы творим, вырываем из мрака область за областью, организуем ее, боремся наконец с дикарями, варварами и язычниками, посылаем в окружающую нас ночь световые сигналы. А вы, где ваше творение, покажите его. Оно дышет, оно будет дышать? Оно лучше нашего? Существует оно уже во времени и пространстве или это миф? И для мифа вы смеете подвергать риску уничтожения такую святыню, организованную мате-

рию, живой организм, чудо, Город. Религия незаменима; горе безумцу, сказавшему — нет Бога. Но исповеданий много. Принять исключительно одно, со всеми крайностями... А что, если оно не единственно верное? Тогда катастрофа, злая гибель. Кротость голубиную и мудрость змеиную должно применять. За себя лично легко принять решение. Верую в Симпатикотомию, исповедую ее ипостась и душу свою вверяю на веки этому учению. Но Город, группу антагонистов я должен вести оглядываясь по сторонам, без крайностей, всячески страхуюсь. Кротость голубиная, мудрость змеиная. Наконец, правда. Вы требуете ее. Но где она себя реализовала в чистом виде, когда? — громил многолетних врагов отважный Генерал-Президент. — Чистая форма ее неизвестна нашему трехмерному континууму. Несовместима. Доля лжи необходима для ее физической устойчивости, как капля воды нужна для образования цемента: позже вода испаряется, и остается крепкий, чистый, соединительный материал. Что такое истина? Она укрепляет или сжигает? Служит жизни или уничтожению — общества»...

Тут Муравей впервые попытался его прервать. Но увлеченный своим словотворчеством и, главное, полюбив уже Муравья, считая его чем-то вроде сына, Генерал-Президент отмахнулся, стукнул искусственной конечностью, и голосом не совсем уместным (как перед конной атакой), яростно прокричал: — Молчать, мальчишка, щенок, молчать! Огромный, багровый, раздувшийся: вероятно, таким он был, когда, молодой, прыгнул на верную смерть — в жерло вражеской пушки. Об этом подумал Муравей; он вежливо поклонился и как можно мягче произнес: — Я вас очень уважаю, ваше превосходительство, но считаю долгом заявить, что вы говорите глупости.

Стоит ли подробно описывать разразившуюся вслед за тем бурю... Ужас клерков, ярость сановников, истерические вопли дам, негодование журналистов; жандармы буквально рвали Муравья из лап оскорбленной толпы; если-бы не вме-

шательство Генерал-Президента, бросившего в самую гущу свалки свой протез, Муравья не удалось бы увести живым.

Создалось нелепое положение. Показательный процесс был сорван, и хотя предпосылок для казни имелось больше, чем надо, однако Генерал-Президент уперся — он желал во что бы то ни стало помиловать Муравья. Генерал-Президент считал себя оскорбленным и поэтому боялся всего, что могло быть истолковано, как сведение личных счетов. Пережитки феодализма. Но пощадить Муравья можно только после какой-то видимости раскаяния. Последний же наотрез отказался от всяких сделок и уступок.

Тогда прибегли к мерам косвенного воздействия. Не то что Муравья пытали, нет, — путем искусно выработанной древней системы лишений пробовали сломить силу его сопротивления. Потом в тюрьму допустили родных. Эта мера, представленная обществу как верх гуманности, на самом деле была самой злой мукой, которой только подвергли Муравья. Ужасны раны, наносимые руками любящих, желающих якобы тебе блага. Они рисовали Муравью радужное совместное будущее. После легкого примерного наказания — ответственный пост; влияние; любовь многочисленных друзей; удобства зрелой, плодотворной жизни. Затем явилась его невеста. Пухлая, уютная шатенка с холодными выпуклостями и горячими углублениями. Нежно прижимаясь, она ворковала, усовещевала. Описывала все прелести семейной жизни, дом полная чаша, двое детей, прислуга, и горячие, горячие ласки, никогда не ослабевающие. Вот так, вот этак и опять вот так. У них будет светлая гостиная из карельской березы и синяя спальная с коврами — та самая, из витрины мебельного треста. Она сообщила ему сонм мелких новостей, — как шнуром опутывая его, — сплетни, соревнования, похвалы. Никса просила его фотографию; теперь их посещают влиятельные знакомые; Гава вчера пошла на операцию, совершенно неожиданно (с Кором она уже давно не встречается). Она получила соответствующие указания, неумоимо работала алым языч-

ком, так что сторож, подглядывавший за ними в щелку, обливался горячим потом.

Между тем внешнее положение осложнялось; послы сообщали тревожные сведения; соседи под предлогом полевых работ усиленно мобилизовались. Требовалось в срочном порядке провести ряд мер: — налоги, пожертвования, кредиты и прочее. Перед этим, разумеется, полагалось продемонстрировать единодушие нации. Предстояло ответственное заседание Полка (род Палаты Депутатов), оппозиция готовилась громить правительство, главным образом по линии бездарности исполнительной власти. С делом Муравья надо было так или иначе развязаться.

И однажды ночью, в совершенно фантастической обстановке, к тюрьме прискакал сам Генерал-Президент. Все последующее казалось выкроенным из большого исторического фильма: замок, факелы, тени в черных масках, храп коней, звон холодного оружия, тюремщики, гулкое эхо шагов, подземелье. Глава Города, виляя крылаткою, проскользнул, — инкогнито, — в камеру к заключенному.

— Не удивляйтесь, — были первые слова Генерал-Президента. — Я отец, у меня был сын вашего возраста, я желаю вам добра.

Их свидание продолжалось около часа. Генерал-Президент посвятил Муравья в древнюю тайну, ведомую только группе избранных и передаваемую по наследству из уст в уста. О Зачатии Града. Когда оплодотворенная Матка зарывается в землю и начинает выталкивать яички, она вскоре, естественно, испытывает необходимость подкрепиться. И вот, из положенных 7 яичек она съедает 3. Восстановив силы, снова производит на свет 7, 9 или 11 штук (цифры эти потом играют некую роль в судьбе Города). И опять пожирает часть своего плода (которому собственно посвятила себя). Только через несколько месяцев, когда первые зрелые Муравьи вышли уже из пеленок и могут питать свою Матку, она перестает есть детенышей. Однако, функция эта перехо-

дит к Городу. Он множится, растет, производит, но чтобы иметь силы творить дальше, — должен систематически, ежедневно уничтожать долю самого себя, часть того существа, для коего был вызван к жизни. Сие есть Тайна.

— Вам не нравится? — спросил Генерал-Президент, закуривая уже вторую сигару. — Знаю, знаю. Но можете ли вы предложить другой удачный опыт построения? Вы уже разработали план нового Города, совместимого со всеми физическими и психическими реальностями жизни?

— Нет, этого я еще не могу, — сознался Муравей.

— Тогда уходите от нас! — обрадовался Генерал-Президент, довольный собою и Муравьем. — Это разумно.

Так родилось их соглашение, вошедшее в Анналы под именем «Генерал-Муравьиного»: провинившегося изгоняли навеки.

— Плебсу мы скажем, что за гордыню вас лишают прав лучшего в мире гражданства, — откровенно объяснил Генерал-Президент. — Элите же внушим, что вы посланы искать Тайну, необходимую для созидания нового Города. Через положенный срок мы объявим о вашей гибели на славном пути. Вам поставят памятник. Поэты посвятят герою баллады, кормилицы будут петь их у очага. В каждом сутулом страннике будут искать сходства с вами. Желая вас насытить, подадут нищему хлеб и вино. Ваша необычная для нас, вероятно болезненная депигментация перейдет в песню, как Белый Цвет: создадут легенду о белом Муравье. И даже присутствие бугра на месте крыльев (нерадение кормилицы) представят отметиною Божьего перста...

Как все военные, не любя долгих проволочек, Генерал-Президент тут же подписал соответствующий указ. В тюрьму вызвали автомобили, адъютантов, оркестр, караул... и уже с обычным церемониалом он отправился во дворец, по пути разрабатывая программу шествия, гражданской казни, изгнания Муравья, — что должно было состояться завтра же.

Жителей ночью разбудили воем сирены; по радио их

оповестили о событии следующего дня. Причем объяснения передавались на волнах двух величин: длинная для рабочих кварталов... ультра-короткая для знати и богачей (приемник ультра-коротких волн не был запрещен — он стоял неимоверно дорого).

Памятный день наступил. Уже с рассвета потянулись колонны труженников, санитаров, кормилиц, солдат, — жителей предместий: выстраивались шпалерами по пути следования кортежа. Им внушили, что казнить будут опасного злоумышленника, развратного педагога. Обиженным существам указаны были — виновник и жертва. Десятилетиями накапливалась потная злоба — понятно, с каким чувством они шли на церемонию гражданских похорон. Особенно свирельствовали Гробовщики (так назывались Муравьи, занятые разведением грибов: они всю жизнь проводят в недрах земли, окруженные нездоровым ферментирующим воздухом). Все вооружились чем могли, — по совету патриотических организаций, — но у рогаток полиция в белых перчатках отбирала мотыги, ломы, колья, лопаты, гуманно усовещевая дикую чернь. Любовь проповедывали также Служители Культов, у каждого перекрестка щедро наделяя толпу орехами и сидром — символы народного единения. Кое-кто ухитрился, однако, зажать в кулаке камень или сунуть за пазуху ком глины, битое стекло и так далее. Гнев возмущенной стихии ярко отражался повсюду.

В центре же города, наоборот, создавалось впечатление праздника. Школьников освободили от занятий; разукрашенные национальными цветами, ведомые наставниками, они чинно дефилировали и распевали звонкие гимны. Светило солнце, играли духовые оркестры. Вдоль автострады тянулись ряды экипажей: открытые, убранные бархатом и шелком, подобные бонбоньеркам или пудреницам. Элегантные, насурмленные муравьиные дамы в этих каретах уподоблялись конфетам или изящным безделушкам, принадлежностям нессессера. Господа в мундирах, фраках, цилиндрах, серьезные,

торжественные, как на мессе, на похоронах, на параде, при исполнении служебных обязанностей. У площади, вокруг генерал-президентской трибуны, выстроились машины избранных счастливых. На один день родные Муравья стали значными персонами. Уютная шатенка, — невеста, — полужела, как водится, на подушках своего новенького ландо. Вдова, в трауре, таинственно-напутственно мерцала своими темными, загадочными глазами (такие бывают у очень близких особ). Кем то пущен был слух, оказавшийся неверным, что любую самку отдадут муравью — буде возжаждет того. Весьма понятны возбуждение и даже ужас прекрасного пола.

Наконец появилась колымага с белым Муравьем: его привязали к самому верху укрепленной стоймя на телеге лестницы. Простой толпе это показалось страшным; высшим же классам объяснили, что сия мера предоохранила Муравья от народного самосуда. Из рядов черни посыпались насмешки, плевки, ругань, наконец — камни. Сознательные труженники пробовали усостить хулиганов, но это не удавалось: подарили божественный день свободы, солнца, света, движения, — они старались не за страх, а за совесть отблагодарить правителей, оправдать их надежды.

Вот колымага все ближе к центру. Здесь Муравья приветствовали уже аплодисментами, цветами, конфетти, воздушными поцелуями, пьянящим воркованием. На площади поезд остановился. Была оглашена темная, витиеватая декларация; затем имел место обряд лишения гражданства: с Муравья сняли и удавили двух насекомых, — паразитов, гнездящихся на груди каждого зрелого, полноправного жителя Города.

Кое-кто прослезился; музыка играла о невозвратном; господа обнажили лысые головы, офицеры отдали часть. Глухие слова команды, дробь барабана — все кончено. Повозка тронулась дальше уже рысью. У Ворот Города Муравья отвязали, поставили на землю и шпагой надали в зад

(не то пинок, не то посвящение в рыцари).

Муравей грузно пополз к холмам, окружающим древний Город. Смеркалось. Круглое солнце пускало красные соки. Праздник кончился. Кабриолеты, флажки, кокетливое воркование, оркестр, певший о невозвратном... все кануло, взвилось, растаяло. Опустели улицы, подметаемые холодным ветром. Становилось жутко и неудобно. Рабочие толпы в потемках брели к своим кварталам; в их мрачных, опоенных душах зарождалось сомнение, раскаяние. Но поздно; тем хуже. Муравей исчез уже навсегда за предполагаемой линией горизонта (оттуда, мнилось, нет возврата). И когда вдруг раздался резкий крик: — Дураки, вас опять обманули... с десяток мелькнувших сапог и кулаков тут же заставил кричащего смолкнуть навеки.

По ту сторону холма, на который взобрался Муравей, совсем близко расстилались густые тени долины; шумела едва обозначенная река в тисках непроходимого леса; там крались лютые звери по коварным тропам, хищные птицы готовились к ночному бдению, гады хрустели сухим хворостом и сонмы насекомых затевали уже варварские радения. За каждым стеблем притаилось дикое, первозданное бытие. «Вот ты уходишь из родного Города, — сказал кто-то устами Муравья. — Куда, зачем! Образумься».

А на небе сияли звезды: большие, низко нависли, подобно кулакам. Муравья влекло к одной: уставился, сосредоточенно упиваясь ее мерцанием. Долго поглощал образ этого небесного ядра. Одинокий, бесприютный.

А позади уже сверкал, залитый сильными огнями, Город: купол рдеющего зарева. Там площади, проспекты, дворцы, готические храмы, магазины с неоновыми рекламами. Муравей знал там каждую черту. После вечерней еды такси развозят весельчаков по театрам; в кафе играет музыка, допустно улыбаются, отраженные зеркалами, красавицы; господа после стакана вермута кажутся остроумными добряками; молодежь горячо спорит о философских системах, о шко-

лах в искусстве. Как он бывало презирал эту болтовню, как ненавидел ложный блеск алкоголя, отвергал поддельную дружбу самок, разгоряченных близостью и доступностью не-близкого и недоступного.

По бульварам бродят пары; у больших магазинов останавливаются и трогательно прицениваются (где-то в одной из витрин красуется еще выбранная им с уютной шатенкой спальная мебель: гигантская синяя кровать, словно врытая в пол).

«Еще не поздно, ты можешь на брюхе приползти назад, вероятно тебе вернут гражданские права и двух паразитов»... и как только Муравей это подумал, он сразу ощутил всем естеством, осознал: возврата не будет. Крепко, верно, гордо застучало сердце, — что-то его несло вперёд, с детских мытарств отличало в среде ему подобных.

Ночь эта тянулась безжалостно. Непривычно резкий, свежий воздух, таинственные шумы, первобытные тени кругом — волновали, мешали забытья. Поминутно пронзительно вопили не то хищники, не то жертвы ими терзаемые. Лист, на котором Муравей прикурнул, отсырел, свернулся. Откуда-то сверху неукоснительно падали огромные студёные капли. Все это походило на кошмар. Ему хотелось молиться: о спасении, о скорейшем прекращении испытаний... Но он постыдился и ограничился только обычной формулой: Отец Небесный, помоги мне исполнить мой земной долг.

Все же, в какую-то минуту ночного равновесия он задремал. Очнулся, когда уже светало, обновленный, счастливый, как всякий горожанин, приложившийся к силам природы. Влажная ягода ежевики напоила, насытила его. Беспричинно радостный он тронулся в путь (там, позади, остался образ кротко спящего еще, древнего Города, --- ау!).

Муравей пробирался лесом, озабоченный поначалу только мыслью, — скорее и дальше! Легионы опасностей подстерегали его за любым кустом; он даже не знал наименования большинства врагов. Но благодаря упорству и сноровке ухо-

дил от злых хищников, петлил, избегая западни, и отважно защищался при необходимости. Часто попадались разновидности муравьиной породы; то были, преимущественно, дикие, языческие племена, ведущие полукочевой образ жизни. Изредка встречались Города, но они все выглядели мельче и незначительнее его родного. Он их избегал, ничего путного от этих близлежащих муравейников не ожидая.

Затем он попал на территорию, заселенную воинственным народом Слепых муравьев (название, присвоенное ими ввиду слепой ненависти ко всему чужому). Оттуда Муравей едва унес свои лапы: он вдруг оказался в самой гуще кровопролитнейшей бойни, длившейся уже много сезонов. Внушительные колонны воинов хитро маневрировали; по топким местам, увязая, мчались танки; аэропланы сбрасывали смердящие газы.

Окруженный действующими частями, Муравей несколько недель отсиживался на стволе сухой сосны, страдая от голода и жажды. В непосредственной близости штурмовали укрепления; осажденные лили струи ядовитой жидкости, превращая ряды прекрасных, живых, чудом существующих среди мертвых сил природы, муравьев, — мгновенно, — в свернутые комки материи. Затем Город был взят лобовой атакой. Последовал неистовый грабеж. Победители, истощенные, калеки, уводили в плен детенышей, уносили музейные ценности: бессмысленно... Ибо детеныши, воспитанные врагами, походили на своих учителей, а музейные сокровища теряли все достоинства, — увядали, — как только лишались надзора существ, способных в свою очередь создавать таковые же.

Муравей, юношей, тоже принимал участие в одной из войн. Офицер, он примерно защищал стены Города от варваров. Тогда борьба ему казалась полною сокровенного смысла, героическим служением идеалам. Теперь же, свидетель извне, вынужденный декадами наблюдать за бессмысленным, методическим самоуничтожением двух станов, он не мог удержаться от рвотной муты.

Новоселье

Вероятно под влиянием этих впечатлений он, несколько дней спустя, благополучно достигнув берега большого озера, не колеблясь заполз в излучину исполинского дубового бревна, способного выдержать дальнейшее плавание.

Отливом слизнуло бревно: их понесло на северо-северо-запад. У Муравья крепло чувство, что он только сегодня распрощался с родными местами; между ним и прошлым разверзлось море.

Луна часто обретала свою полноту и снова теряла ее; менялся небесный чертеж. Бури и смерчи порядком трепали Муравья. Он пожирал древесную мякину, занимался гимнастикой и так привык уже к неустойчивости, что воспринимал это состояние как наиболее покойное. Вообще, с тех пор как он отчалил и не встречал больше подобных себе созданий, чувство полного довольства наполняло его. В то время как любые сношения с муравьями рождали в нем отчаяние и гнев, борьба с чуждыми стихиями дарила ему удовлетворение и радость.

Но скоро волны стали резче, беспокойнее, вода мутнее, начали попадаться разные предметы, птицы, свидетельствовавшие о близкой заселенной, плодородной земле. И вот ночью, в полнолуние, разгаром большого прилива Муравья выбросило на край дальнего материка или острова; мгновенно воцарилась тишина и неподвижность.

Он долго отлеживался, отсыпался, ел непривычные фрукты и овощи, норовя окрепнуть, зная что приближается новый период приключений, быть может горших, чем предыдущие. Раз ночью его внимание привлек шум голосов; с возвышения можно было различить огонь костра: обоз грузовиков расположился в поле. Муравей подкрался совсем близко: у них случилась поломка и шоферы чинили машину тут же при свете факелов. Казалось, он понимает отдельные слова, даже смысл целых фраз. Если память его не обманывала — туземцы извяснялись на древнем Бамбуке (род муравьиного санскрита). В Городе Муравья знание мотора (и классических

языков) было необходимо для каждого дворянина. Он отважно вышел из кустов и предложил свои услуги. Исключительно приветливые и даже веселые шоферы не удивились его незапному появлению; горячо благодарили его; затем услужливо дали место в одной из машин — ибо держат путь они, разумеется, как и все, в Столицу. Заразившись их бодрым весельем, Муравей не отклонил предложения. Так они и покатили к веселой Столице. По пути Муравей разведal, что Столица завтра празднует «День Независимости». Будут петь и плясать трое суток без передышки. Входит в силу ряд чрезвычайных мер и льгот. На торжество стекались издалека резвые иностранцы, ибо Столица славилась многообразием сексуального опыта, винных букетов и произведений искусств.

По дороге эта дружески перекликающаяся компания часто задерживалась у каверн (род аптечных складов); там всем подносили укрепляющие напитки, как пассажирам, так и моторам; после чего ликование словно возросло, шоферам море казалось по колено (они и скатывались туда раз два), да и машины начинали бойче подпрыгивать, вилять: зигзаг, пируэт, антраша. Ранним утром они подъехали к заставе веселого города; впрочем, дневной свет был умело замаскирован: всюду горели цветные фонарики, господствовали ночные, лирические тени, что увеличивало интимность обстановки.

На площади снова подкрепились у большой каверны. Нарядные, исключительно приличные дамочки доверчиво льнули к Муравью. Это ему понравилось. Никто в Муравье не узнавал чужого: не спрашивали, не приставали... Точно все такие как он, прохожие, знатные инкогнито, уважающие себя, любящие других. И это он воспринял как отменно хорошее.

У террасы кафе шумели молодые матросы; одетые в белое, гибкие, здоровые, они вероятно были навеселе и всё тшились пройти по узкой обочине тротуара, — что у них не получалось. Когда один срывался, следующий его отстранял

и предпринимал то же, чреватое осложнениями, путешествие. Муравью это показалось презабавным. Он, в свою очередь, оттолкнул последнего осрамившегося матроса, решив дать им наглядный урок. Но те вдруг обиделись, преградили ему дорогу, стали на дыбы. И Муравей вынужден был неспеша аккуратными ударами сбить всех четверых подряд.

Кругом собралась уже пестрая толпа; Муравью аплодировали, его чествовали, угощали, потом, — в обнимку с теми же матросами, — куда-то повели. Очутились в доме с трехэтажной залой, увешенной многими картинами: мастерская, надо полагать, знаменитого художника. Впервые за много месяцев Муравей попал в общество препотешных, культурных собеседников. Самочка, которую он гладил, не просто взвизгивала, а говорила о религии, политике, искусстве (приблизительно так же, как члены его цеха).

Танцевали, подкреплялись, спорили. Муравей очень привязался к одной Натурщице и двум жившим при ней паразитам. Он сумел им объяснить кое-что из сокровенного: даже такое, чего раньше сам не подозревал... Ибо трудности отступили, — все чудесно прояснилось, сделалось простым и доступным. Надо сейчас же уйти в поле и заложить основание образцового Города с новыми законами (некоторые он тут же успел перечислить на бумажной салфетке). Для начала необходимы два-три верных муравья. Натурщица и ее паразиты полагали, что это вполне своевременно и выполнимо. Они не просто соглашались, а даже забежали вперед, уточняли мысли Муравья, вводили поправки и улучшения (например — о целомудрии), что свидетельствовало о непререкаемости их внутреннего духовного опыта. Это Муравья трогало и ободряло.

Потом наступил черед дамы в безобразной шляпке: офицер тамошней армии спасения. Она продавала священные скрижали и предлагала всем немедленное бессмертие. Муравей заявил, что купит весь чемодан с товаром, если только

она согласится отплясать Ранго. Вообще, все, что он делал и говорил, ему представлялось необыкновенно остроумным. Да и легкость появилась действительно чудесная (загадочным образом в его кармане очутился тугой и тяжелый бумажник). Они танцевали Ранго; офицер оказался кротким, добродушным собутыльником, очень компанейским; смеялись, чокались, снова пели: «Ранго, Ранго, земное Ранго».

Когда Натурщица собралась итти на работу, Муравей решил вдруг, что он должен принести себя в жертву. Пригласил ее в отель. Паразиты улеглись за окном, на земле; а они в огромную несвежую постель. Выгребная яма, — он прыгнет головою вниз. После она сказала: — Я тебя считала почти святым... — а в его душу, словно тупой нож вонзили и повернули.

Вскоре Натурщица простодушно и мирно, устало захрипела. От нее дурно пахло. С неуклюжей жестокостью тянулось, топталось на одном месте, — время. Муравей ждал рассвета, но его не могло быть. Все так же, отдаленно, всплескивали томные оркестры; плясали и пели на площадях; за окном ходили парочки — искали приюта. Смертельная печаль затопила Муравья: «Гоняясь за подвигом, падаешь навзничь... Так Каин, желая принести немедленную жертву Богу, становится убийцей... Нет, я не дамся», рванулось сердце Муравья. Грубый, свирепый, был он похож на воина, что уцелел после тяжелого ранения, или на висельника, чья веревка порвалась.

Он поспешно натянул портки, схватил подмышками штiblеты и полез в окно, не оглядываясь на блудницу, с коей связал себя навеки; под окном блаженно храпели паразиты, — вчерашние его идеальные соотечественники; Муравей перешагнул через них и стремглав побежал из гостеприимной Столицы.

А на воле, — точно надеясь доконать его, — силы природы восстали: все, сразу. Дни и ночи бушевала гроза, бил гром, полыхали молнии, ветер вырывал с корнями то дерево, где Муравей находил себе приют, или огонь ударял в то ме-

сто. Словно проклятие тяготело на нем и одно прикосновение Муравья обрекало уже все на гибель. Ягоды попадались ядовитые, чем пышнее, тем опаснее; грибы — отравленные. И только низко повисшее небо казалось доступным, но и оно не обещало крова Муравью, не знающему, где преклонить голову. А тупое отчаяние только крепло в душе. «Вот ты ушел из родного Города, якобы грубого и несовершенного, — угрюмо размышлял он. — Но Города, посещаемые тобою, хуже и примитивнее того. Ты отрекся от братьев, считая их пошляками и трусами, но существа, снисходившие до тебя потом — вульгарнее и мельче. Ты отказался от уютной ша-тенки, не воспользовался ее посредственной чистотой, а связался с дурно пахнущей Натурщицей»...

Но нет худа без добра. Многообразие подстерегающих опасностей, жестокость суровых, лукавых врагов, восставших на Муравья, подстрекали упрямые силы сопротивления: слепую волю если не победить, то хотя бы дорого продать свою жизнь — отомстить.

Однажды, под вечер, непогода будто утихла: все кругом оцепенело в ложном, пугающем покое. «Господи, да будет Твоя воля», — упрямо шептал он. Около полуночи с листа, под которым притаился Муравей, прыгнул на него яростный зверь, отдаленно подобный муравьиному льву, но превосходящий его по размерам (да и с другими повадками). Муравей конечно слышал о существовании разных тропических чудовищ, но образ этого ночного вора был недоступен самому пылкому воображению, парализовал одной своей близостью. И они сцепились не на живот, а на смерть. Нужно было осознать окончательную свою неудачу и гибель, чтобы противостоять такому противнику. Томительно сомкнулись стальные тиски. Внешне они, — неподвижно единоборствующие, — могло казаться, братски обнимаются. Но холод и огонь, смерть и вечность молниеносно меняли свои знаки и направления: сердце мускулов должно было порваться, продолжись это объятие еще мгновение. Тогда раздался голос, в коем

земного было только его неземной покой: — Знаешь ли с кем ты боролся?.. — Затем Муравья легко подняли, перевернули и, дернув, поломали переднюю лапу; бережно опустили на мураву.

Обморок... забытье... Только ненадолго: ночь еще грузно цвела, когда он очнулся. Однако кругом многое изменилось. Деревья радостно шумели кронами, птицы домовито ворковали, грызуны укладывались на покой, мотыльки, мошкара, затевали обычную для каждой породы суету. Влага осела, воздух сделался живым, обновленным. Муравей невольно подумал: «Предыдущее томление природы было только ожиданием этого неизбежного единоборства с муравьиным львом, а теперь все облегченно вздохнуло, освободившись от дурных чар».

Прорезались, высыпали звезды. Муравей узнал ту, которой любовался еще с холма древнего Города: давно, давно. Изменился ли угол (и следовательно образ светила) или переродилось сознание, но звезда эта больше не казалась ему чем-то непомерно далеким, чужим, холодным; наоборот, у него зрела уверенность в их почти родственной, интимной связи: здесь он, а там небесное тело, и одинаково они отмечены в планах мироздания, несут службу и нужны.

Поломанная лапка ныла, но боль эта, до известной степени, облегчала, давая исход внутреннему напряжению. Память о только что разыгравшемся эпическом поединке наполняла сердце Муравья озорным ликованием. Вспомнил Генерал-Президента и ухмыльнулся: остался бы доволен бойцом.

А с утра подступили обыденные заботы. Есть, пить, ампутировать часть собственной лапы, лечить рану. К тому же, не совсем кстати, Муравей расхворался: злая лихорадка трясла изнуренное тело. Ему всегда казалось, что самое позорное — это смерть на полпути (до завершения основного труда, до обозначения главных вех). И теперь опасность такого поражения грозила ему. Надо было поскорее выбраться отсюда. На беду лютые сомнения снова терзали Муравья: его

таинственная встреча в полночь представлялась ему теперь только бредовым обманом.

Судя по некоторым данным, он приближался к большому культурному центру: остатки разрушенных общественных сооружений, удобные, хотя и запущенные дороги, недавно еще возделываемые поля. Но муравьи не попадались. Теряя часто сознание, пробуждаясь ночью после приступа лихорадки и тотчас-же снова пускаясь в путь, — еще хоть на шаг, — Муравей пробирался: дальше и дальше. И наконец, как то невзначай даже, он очутился у стен большого Города. У рогаток дежурили многочисленные стражи, но его беспрепятственно пропустили. Он проковылял в тенистый парк: посредине, на воде пруда, колебался поплавок, — род летнего ресторана. Оттуда слышалась музыка и хор поющих. На аллеях семеняли гуляющие: молодые и старые, все имели вид сытый, довольный, приветливый. Пруд бороздило несколько расцвеченных лодок. По мосткам Муравей пробрался в ресторан. Заняв свободный столик, он велел принести горячую еду и питье. (Его речь понимали. Муравей потом без труда насчитал около десятка знакомых диалектов).

Он жадно пил ароматную, живительную влагу и сразу почувствовал себя отлично: не просто здоровым, а словно помолодевшим, как часто бывает после изнурительной болезни.

Все столики кругом были заняты. Веселая, чисто вымытая молодежь пела, смахивающие на религиозные гимны, песни. Благопристойные старцы с пушистыми патриархальными бородами, после трудового дня принимали участие в совместном, отдохновительном веселии. В тяжелые ковши они цедили густые прохладительные напитки, вежливо приподымаясь, чокались и отпивали (вообще господствовала библейская атмосфера).

Муравью дали время отдохнуть, подкрепиться, затем один из старцев ему поклонился и осведомился почему он не поет. Муравей ответил фразой почти тысячелетней давности:

— Я чужой в этом городе и не знаю ваших песен и обычаев.

Его тотчас же пригласили за один из общих столов и усадили на самое почетное место. Смущенный Муравей попробовал было отказаться, но ему объяснили, что он причина сегодняшнего торжества: оповещенные о его приближении, все граждане явились на чествование (согласно уставу).

Его потчевали, приветливо расспрашивали о законах далекой родины, о нравах великих Республик. Затем Муравью ласково поведали о законах их страны: иностранец может приобретать в кредит все, что ему понравится (вплоть до музеев и дворцов). Жен ему дают зараз не больше десяти: может выбирать любых, даже замужних (при условии, что супруг ее туземец).

— Тысячи чужестранцев стекаются в наш Город и здесь благоденствуют! — утверждали старцы. Для примера они назвали кое-кого из присутствующих. Один, между прочим, оказался с того же берега, что и Муравей: в пьяном виде на крыле птицы, занесенный сюда... Он даже стал чем-то вроде национального героя, доказав, что древнюю сакраментальную надпись: «Евелия полюбила лень»... надлежит читать, — «Евелию погубила лень»... вызвав этим целый переворот в умонастроениях.

— Но я вероятно отсюда скоро уйду, — сказал Муравей. И пояснил, что послан отечественным Сенатом на поиски реально существующего Града с образцовыми, желанными порядками: — Если ваши уложения неудовлетворительные, я отправлюсь дальше; если они хороши, я буду вынужден ползти назад, какие бы лишения и опасности ни угрожали мне в пути.

Это произвело дурное впечатление. Старцы как-то загрустили и насупились; нечто угрожающее мелькнуло в повадках молодежи. Земляк («Евелию погубила лень»), — незаметно ущипнул Муравья и приказал ему хранить молчание. Улучшив минуту, он открыл Муравью следующую государственную

тайну: браки уроженцев этого края между собою дают потомство, неспособное к отвлеченному творчеству. По сему поводу здесь в такой чести иноплеменники: им дарят все, ежечасно умножают привилегии, но за стены города не выпускают.

— Тсссс, — умоляюще предварил земляк: — Об этом все знают, но не любят говорить.

После трапезы, — предшествуемые оркестром, — Муравья повели к парикмахеру. Там его не только обкаранали, побрили, но и выкупали, опрыскали одеколоном, завили; лишь обняв сажками все эти мелкие, нелепые кудряшки, Муравей понял какая очередная опасность ему угрожает. Затем его возили на смотр невест. Одна была совсем не вредная, — подстать Шатенке. И на мгновение в усталой душе Муравья мелькнула соблазнительная идея: чорт возьми, это совсем не так плохо.

Его поселили в едва ли не лучшем дворце; отвели многочисленный штат прислуги; записали в клуб Джентельменов. Целую неделю ознакамливали с разными толками вероисповеданий. Религия в этом краю пользовалась большим почетом, нравственность держалась на высоком уровне (так например, считалось предосудительным красть личинки из чужих муравейников, а также эксплуатировать тлей — причина медленного вымирания расы)... Однако обилие культов не способствовало возникновению религиозных распрей. Мир господствовал меж церквами разных юрисдикций. Дозволялась только здоровая конкуренция. Священники являлись одновременно лекарями; они настаивали целебные травы и опаивали прихожан способствующими зачатию микстурами.

В отчаянии Муравей, одетый теперь по картинке модного журнала, подходил к Воротам Города: после краткого окрика на незнакомом языке администрации, часовые грубо отсылали его назад. Часто бродя без цели по Городу, он знакомился и беседовал с представителями самых разнообразных профессий. Так, он обнаружил одного заживо гниющего ни-

щего и подружился с ним. Посвященный в школьную медицину, Муравей сообщил ему рецепт мази, способной исцелять кожу, обновляя ее. Вот этот прокаженный шопотом поведал Муравью сокровенную тайну; пришлось нагнуться, почти приложиться к устам отверженного. Для выхода из Города требуется Выездная Виза. Виза эта в принципе дается Комендантом. Нищий объяснил, как найти здание комендатуры и тотчас же начал бесноваться, для личной безопасности прикидываясь одержимым духами.

Комендатура занимала целый квартал. Кругом было пустынно и тихо; главный подъезд зарос травой. Из окон торчали ржавые дула пулеметов, пушек и других инструментов. На крыльце большой плакат о чем-то извещал или предостерегал просителей; но Муравей не знал языка правительственных учреждений. Потоптавшись несколько у этой нерасшифрованной надписи, он перевел дух и решительно скользнул через порог. За дверью тянулся длинный, мрачный коридор: холод, пустота, одиночество. Из крайней камеры доносилось шелканье пишущей машины. Муравей храбро пополз туда. Его встретил сумрачный полицейский с добрыми выцветшими усами. Строго окликнув Муравья, он протянул ему бланк формуляра и перо. Догадался: надо подписаться, — дрожащими лапами выполнил требуемое. Чиновник юркнул по витой лестнице, через минуту спустился с розовым билетом, на котором виднелась фотография Муравья (каким он, хворый, приближался к стенам Города), а также большой сургучный орел. Вручив документ, чиновник легонько подтолкнул Муравья к выходу; так и не проронив ни единого слова, он поспешно выполз наружу.

А к площади уже стекался народ; оповещенные должно быть случайным свидетелем, прибежали его друзья, в частности и Земляк. Они нервно расхаживали, шопотом обменивались соображениями; дамы плакали и молились. С громким радостным кличем все бросились к Муравью. Его тормозили, гладили, ощупывали, изумленно поздравляли с благополуч-

ным возвращением. Наперебой допытывались, как у него хватило дерзости на такую авантюру. Когда выяснилось, что Муравей не сумел разобрать надпись у крыльца, — они совсем растерялись и приуныли (Гласила она: «Вход запрещен под страхом смертных мук»).

Обладая Выездной Визой, Муравей предполагал еще держаться на некоторое время, погулять, отдохнуть в Городе: лишь теперь он был способен оценить все доступные здесь блага. Но, увы, это не удалось: к нему потеряли всякий интерес, даже больше, отныне его считали нежелательным. Из дворца — выселили; клуб Джентльменов — вычеркнул его имя из почетных списков; даже невесты (десять), коих он, письменно, обязался поочередно навещать, — больше не принимали его. Ощущая подлинную враждебность и даже некоторую опасность для жизни, Муравей решил не настаивать: в один день собрался и тронулся в путь. Город празднично кишел демонстрантами: навстречу попадались группы взволнованно галдящих муравьев. Ему объяснили, что это adeпты вновь образовавшейся религиозной секты вербуют членов; они именовали себя — Безграмотные.

Опять Муравей в привычном для себя одиночестве. А вдали горы, леса, степи, реки. Мог бы чувствовать себя счастливым. Но от счастья в одиночку он давно отрекся, положив за дело своей жизни иное.

Стремился вперед, дальше, пользуясь всеми дарами своими и мышцами: автоматически минуя преграды, выбираясь из гиблых мест, спасаясь от опасных спутников, уползая из капканов, — щедро разбросанных матерью-природой. Привык уже к борьбе, предательству, смерти, подстерегающей его на каждом перекрестке. Извиваться, прыгать, настораживаться, обходить: делал это уже бессознательно, — думая о своем, глубоком, суровый, постаревший. Так и не заметил, когда дорога начала меняться: вдруг потянулась гладкая, доступная. Сочная трава давала пахучую тень, но, странное дело, не являлась больше препятствием; птицы сладостно за-

ливались, — не искали себе жертв! Насекомые, звери, пернатые, все это не металось больше, не пожирало друг друга, не сторонилось чужих и не группировалось по отдельным, родственным породам... а в какую-то минуту собралось в единый любовный хоровод, ликующе приветствуя Муравья. Травы, деревья, плоды, земля, воздух, — струили благоухание. Ветра не было, но и зной отсутствовал; зной отсутствовал, но и стужи не было. Словно все качества ветра, дождя, грозы, засухи, жары и северных ледников, — присутствовали; а все недостатки этих стихий, все яды их были выделены, уничтожены.

Как это случилось, Муравей не мог сообразить, — позади легло много развилок дорог, горных хребтов, отвесных ущелий, — вдруг он нашел себя в неописуемо мирной долине, наполненной трепетным сиянием всего живого. Голоса настоящему не были слышны: точно, — раньше еще! — они доходили изнутри... Далеко внизу, на прогалине, кротко разгуливали тихие существа; не успел Муравей любопытствовать кто там, как воспринял ответ: «Те, что в самом начале пути взмолились о пощаде».

Окруженный радостным хороводом, Муравей выполз на небольшую, залитую солнечным светом поляну. Посередке, на круглом пне, сидел бородатый старик с веселыми глазами; он что-то ловко плел из бересты и лыка, губы его тихо двигались, а лицо сияло полнотой жизни; у ног его лежал серый медведь и приязненно помахивал хвостом.

Муравья рвануло вперед: стиснув челюсти, едва удерживая рыдания, он кубарем выкатился на середину поляны. Целиною полз через медвежий жаркий мех; чтобы поскорее обратить на себя внимание, — поднялся на дыбы. Старик ласково протянул ему чашу с лесным чистым медом.

— Я не за сладким сюда шел! — грубо и радостно крикнул Муравей.

Старик грустно на него поглядел и сказал: — Тогда тебе нужно идти еще дальше.



А назавтра все провожали Муравья: старик медленно шагал рядом, а позади двигался весь хоровод эдемски трепещущих созданий. У края поляны попрощались. Муравей еще раз низко поклонился старику и один пополз прочь. Оставшиеся недоуменно смотрели ему вслед. Вот он отважно спускается в ров, граничащий с темным бором, вот лезет по склону обрыва, — там, дальше, вековая сырость, вражда, смертные блики и разрозненные существа. Ладонью защитив глаза от солнца, старик зорко следил за последними движениями Муравья, благодарно запечатлевая его образ: ползет, а рядом косая, безобразная тень с оттопыренной лапою.

Еще мгновение трудного подъема, и вот, — скрылся за черным валом. Отвернувшись, старик украдкой вздохнул, — две крупных слезы катились по его прозрачным щекам; медведь тут же на ходу их аккуратно слизнул.

ВАДИМ АНДРЕЕВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

(Упомянутые в поэме военные события имели место на Кавказе во время гражданской войны в 1920 году).

1.

Кавказ дышал, как мамонт сонный.
Ползла заря из-за вершин.
Застыл громадою червонной
Завороженный властелин.
Вверху клыками горной цепи
И ребрами огромных скал
Рассвет рассеянно играл —
Жемчужное великолепье.
Над черноморскою пустыней,
Над чешуею зимних вод
Сиял невыразимо синий,
Воздушно-лучезарный лед,
Почти как блеск небесный ярок.
В пролетах оснеженных арок,
На лапах розовых ветвей
Играли отсветы огней.
Заря сползла на берег моря
И рыжий озарив песок,
Растаяла в большом просторе.
День встал, отчетлив и высок.

2.

Пожар далекого аула
Угас в пожаре синем дня.

Новоселье

В прозрачном небе утонула
Струя лилового огня.
И над кавказскою твердыней,
Как листья легкие венка,
Серебряные облака
Раскрылись в огненной пустыне.
Казалось все простым и точным,
Казалось — воздух чист и нем,
Казался мир бессмертно прочным
И каменным. А между тем
На горностаевых плечах,
Меж льдин, в сияющих снегах,
На отдаленные высоты
Таясь глядели пулеметы.

Вот ветер набежал и вскоре,
Стыдясь зеркальности ночной,
Покрылось утреннее море
Полупрозрачною чадрой.

3.

Дымок над орудийным дулом
Летучей розою расцвел,
И вслед за ним тяжелым гулом
Наполнился угрюмый дол.
Застыв, к земле приникли травы,
Тягучий воздух точно мед,
Стекавший вдоль прозрачных сот,
Как бы наполнился отравой.
Скользя шипящею шрапнелью,
Внезапным светом ослеплен,
На волю выполз из ущелья
Неповоротливый дракон.
Вверху ощерившись горели

На недоступной цитадели
И недоступны и близки
Щетиной черною штыки.

Земля вздохнув загрохотала.
Взвиваясь, падал желтый прах,
И в небесах, подняв забрало,
Стояло солнце на часах.

4.

Как мне забыть — я помню, помню
Вершин стремительный разбег
И в этом мире вероломном
Жемчужно-розоватый снег.
И стрекотанье пулеметов,
И нежных пуль прозрачный звон,
Кустарником заросший склон
И дальний голос самолета,
В ущельи узком водопада
Неугомонную струю
И смерти близкую прохладу,
И жизнь, и молодость мою;
Горячий ствол винтовки длинной,
Вверху, над башнею старинной,
На самом острейшем штыка
Взлетающие облака.

И белый парус в блеске моря,
В тумане моря голубом,
Скользящий в пламенном просторе
Упрямо-загнутым крылом.

5.

О нет, в долине Дагестана
Не я лежу в свинцовом сне,

Новоселье

И не моя дымится рана,
И жизнь моя не снится мне.
Вот здесь, теперь, парижской ночью,
Лишь явь горит передо мной
И прежних дней во мгле глухой
Разорванные вьются клочья.
Случайному поверив звуку,
Я не услышал голос твой,
Кощунствуя я поднял руку,
Моя Россия — над тобой.
Последней нотою высокой
Во тьме звенит трамвай далекий.
Не отгоняя мыслей прочь,
Чужая коченеет ночь.

Люблю, люблю тебя, родная.
Я вижу — бархатная мгла
Печально, как чадра ночная
На холмы Грузии легла.

6.

Спаяв разорванные кольца,
Скрутив узлом тугую цепь,
Ползли на приступ добровольцы
Туда, на ледяную крепь.
Гудел развороженный улей.
Меж скал и жаля и звеня,
И все ж не трогая меня,
Легко посвистывали пули.
Я помню солнца терпкий запах
И раны черные земли,
Клочек разорванной папахи
И кровь застывшую в пыли,
И этот взгляд в меня глядящий,

Еще живой, еще блестящий,
При свете золотого дня
Уже не видящий меня.

А там, вверху, застыв в молчаньи,
В зеленом ореоле льдин —
Самодержавное сиянье
Кавказских огненных вершин.

7.

Неравный бой. Мы не сумели
Достичь врага и залегли,
Не взяв высокой цитадели,
В изрытой пулями пыли.
Часы томительны и изныны
Текли чернея, точно кровь.
Лишь к вечеру в атаку вновь
Мы бросились толпой нестройной.
Между камней и между трупов,
Жужжаньем пчел окружены,
Сорвались с каменных уступов
За есаулом — пластуны.
В штыки — и вот — мы разорвали
Сверканием трехгранной стали,
Как молниєю облака,
Нас окружавшие войска.

Но там, где ручейком раздвоен
Полуразрушенный аул,
Уснул, печален и спокоен,
Наш седоусый есаул.

8.

Усталым пламенем заката
Страна моя озарена,

Н о в о с е л ь е

Потерянная без возврата,
Непостижимая страна.
Мы шли вдоль моря. Красным шаром
Горело солнце. Вдалеке,
На рыжем выросши песке,
Качалась мертвая чинара.
С трудом ворочая колеса
Тяжелой и смешной арбы,
Везли волю в пыли белесой
Уставших от земной судьбы.
Тела, прикрытые дерюгой,
Слегка толкались друг о друга.
Казалось нам, что вот сейчас
Они, хрипя, окликнут нас.

День догорал. Чадра ночная
Холодным саваном легла —
Печальная и ледяная,
Боль успокоившая мгла.

9.

Я не могу заснуть. Угрюмо
Я вслушиваюсь в мрак ночной —
Он полон шороха и шума,
Он полон тяжести земной.
Там, за окном, фонарь зловещий
Туманом вьющимся одет,
И по стене скользящий свет
Слегка передвигает вещи.
Гудок автомобиля длинный
И призрачная тень луча
Летит вдоль улицы пустынной
Со свистом яростным бича.
Горят стремительным пожаром

Асфальтовые тротуары,
И в черных, плоских зеркалах
Сверкает белоглазый страх.

И вот опять встает глухая,
Бессонная и злая тьма —
Моя огромная, ночная,
Моя парижская тюрьма.

10.

Все неизменно — годы, годы,
Все тот же дымный небосвод
И опостылевшей свободы
Нетающий железный лед.
И я смотрю на атлас школьный
И между чуждых стран одна,
Она одна, моя страна,
Влечет меня к себе невольно.
Темнозеленые долины
И пятна синие озер,
И гор коричневых вершины,
И прихотливых рек узор.
В степи глухой, как небо древней,
Полузатерянной деревни
Лишь в лупу видимый кружок, —
Цветка грядущего глазок.

Как узник смотрит сквозь решетку
В окно, в свободу, на простор,
Так я гляжу на этот четкий
Географический узор.

11.

Я помню наше отступление,
Арбу, упавшую в овраг,

Горящий дом и в отдаленьи
Нас крепко обступивший мрак.
Ночные шорохи и шумы,
Слепой, необоримый сон,
Тяжелый, низкий небосклон,
Глухого моря плеск угрюмый,
А по утру — холодный ветер
И двухмачтовой шхуны бег,
И в сером, дымном полусвете
Крутящийся, бесцветный снег,
И там за снегом, еле зримы,
Недвижимы, непобедимы,
В броне дымно-лиловых льдин
Форты надоблачных вершин.

Я помню, как на борт упорно
И набегал, и падал вал,
Фонтаны брызг и сине-черный,
Внезапно налетевший шквал.

12.

Нас в этом мире только двое.
Как мне и плакать без тебя?
Гляжу в твое лицо родное,
Благословляя и любя.
Все та же ты, — не изменилась:
Все та же степь, все тот же лес,
Все тех же северных небес
Мечтательная легкокрылость.
Звенит гармоника от боли
В летучем сумраке ночей —
Еще одной заботой боле,
Одной слезой река шумней.
И все по прежнему, тяжелый,

Глядит на праздничные села
До самой крыши полон тьмы
Огромный силуэт тюрьмы.

Так было и опять так будет --
Расстрел — и ропот соловья.
Душа умрет, но не забудет —
Ты свет, ты молодость моя.

13.

Опять я прохожу бесплотный,
Неузнаваемый никем,
Опять встает рассвет дремотный
И горный воздух чист и нем.
Опять — Кавказские вершины,
Дымно-жемчужные снега,
Залива длинная дуга,
Чинары в глубине долины,
Дыханье легкого мороза
И там, на берегу реки
Мне незнакомого колхоза
Взвивающиеся дымки.
И я для глаз людских незримый,
Прозрачней света, легче дыма,
Неуловимо прохожу
Вдоль по земному рубежу.

Играет солнце в снежной чаще.
Сияет ледяная твердь.
Мне жизни радостней и слаще
Воображаемая смерть.

14.

Страна моя, сквозь сон мне снится
Неуловимый голос твой.

Новоселье

Летучих звуков вереница
Звенит, кружась во тьме ночной.
Душа сквозь темную фазлуку,
Навстречу звукам, как цветок,
Протягивает лепесток,
Ловящий свет и влагу звука.
И вот, меж лепестков, незримо,
Между тычинок, в тишине,
Таинственно, неуловимо,
В глубоком, в глубочайшем сне,
В глубокой тайне сокровенной
Уже цветет огонь священный
И зреет медленно — оно —
Непобедимое зерно.

Качается чадра ночная,
Прохладный веет ветерок.
Прости меня, моя родная,
Что я тебя покинуть мог.

Париж

ЛОЛА КАУФМАН

АМЕРИКАНСКИЕ РАССКАЗЫ

Е й е щ е н е с к а з а л и

В доме у Фрадких большое несчастье: на войне убит их сын, Генри. Отец получил телеграмму, когда матери не было дома, и ей еще не сказали...

Прошло целых три дня. Фрадкин тает как свеча, места себе не находит. Он решил созвать всю семью. Сегодня пусть все соберутся и скажут ей — тогда не так жутко.

Первая явилась Рива, младшая сестра. Еще на дворе она, видно, плакала; глаза ее были красны.

— Дома Минна?

— Нет, — ответил Фрадкин. — Она ушла за покупками.

Рива села и сразу же стала смотреть на пианино, где в серебряной раме улыбалось красивое полудетское лицо Генри в военной фуражке. Она всхлипнула.

Фрадкин сказал:

— Я позвал тебя не для этого. Я хотел помощи...

— Да, да! — Она быстро вытерла слезы. — Но ведь Минны еще нет. Ах, Господи, какой ужас, какой ужас! Она просто не выдержит.

Фрадкин сидел, положив голову на стол и молчал. Слышно было тиканье часов, и казалось в углах притаилось что-то страшное. Горели лампы.

Раздался звонок — пришла Дина, старшая. Она бросилась Фрадкину на шею, и оба заплакали.

— Ее еще нет? — спросила она, отправившись.

Она, так же, как Рива, уселась и стала, не отрываясь, смотреть на пианино.

— Не странно ли, — сказала она, — мне снилось, что с Минной случилось несчастье...

— А разве не странно, — сказала Рива, — что мать не предчувствует ничего и вот уехала за покупками.

— Она беспокоится только, что от Генри нет писем, — вырвалось у Фрадкина. Он поднял голову, и по лицу его было видно, что он уже несколько ночей не спит.

Последним пришел Сима. Это был брат Минны, высокий здоровяк, с громким голосом и веселыми глазами. Он сразу внес оживление.

— Я пригласил вас, — сказал Фрадкин, — чтобы вы помогли...

— Конечно, конечно, голубчик, ты не можешь. Мы это сделаем. Я сделаю. Надо одним ударом, сразу.

Он подошел к пианино и взял в руки портрет.

— Она еще не пришла? — спросил он.

Все вдруг встрепенулись: Минна открывала дверь.

— Ах, — влетела она, — какой сюрприз! И Дина, и Рива, и ты, дядя Сима. По какому поводу?

— А вот, — сказал Сима, — проходил мимо, дай, думаю, зайду...

— А я, — поспешно сказала Дина, — все равно хотела зайти, помнишь, я говорила.

— Взять рецепт торта? Ну, как детки, Рива?

Ее лицо слегка омрачилось.

— От Генри писем все еще нет, не понимаю...

— Чего ты не понимаешь, — поспешно сказал «дядя», — теперь письма идут медленно...

Минна прошла на кухню.

— Я так рада, что все тут, — сказала она. — Как хорошо, что я купила по дороге ореховый торт, у нас будет настоящий праздник. Я приготовлю чай.

Все переглянулись с таинственным видом. Сима прошептал:

— Не бойтесь. Я сообщу ей... пусть она только немного...

И вслух сказал:

— Что же ты накупила?

— Разные вещи, — оживленно ответила она. — Генри просил носки, перчатки, шоколад.

Она рассмеялась.

— Он любит шоколад как ребенок. Тебе не лучше? — обратилась она к мужу. — У него третий день голова болит...

— Нет, ничего, пройдет, — ответил муж.

Расставляя посуду и сервируя чай, она не переставала говорить.

— Я так рада, что все пришли, — повторяла она.

Завязался разговор. «Дядя» был остроумен и оживлен. Рива рассказала случай со своим беби, а Дина спросила рецепт торта. Фрадкин катал шарики из хлеба и смотрел вниз.

— Еще чашечку — сказала Сима, передавая ей пустую, и вздохнул. — Да, жизнь...

— Что ты говоришь? — спросила Минна. — Что ты сказал — жизнь?

— Так вот наша жизнь — сегодня я живу, завтра меня нет...

Минна рассмеялась.

— Ты расфилософствовался!

И размешивая ложечкой чай, она задумчиво произнесла:

— Я не понимаю, почему от Генри нет писем...

Тогда все хором ответили ей:

— Что ты не понимаешь? Война ведь.

П р о д а в е ц п ы л е с о с о в

Он привык.

Он привык уже к тому, что женская рука, открывая перед ним дверь, тут же захлопывает ее перед самым его носом. Он привык звонить еще раз, и еще раз без ответа. Привык

видеть недовольных женщин, которым вечно некогда, которые всегда так заняты. А тут еще какой-то продавец морочит голову своими пылесосами самой лучшей фирмы.

Как он старается расхваливать эти машины для чистки ковров... Он сочинил чуть ли не целую повесть, но это мало помогает. Редко у кого из молодых хозяек уже нет своего собственного пылесоса, другой, еще лучшей фирмы. А может быть он не умеет убедить их, что его фирма — лучшая. Ведь его коллеги, тоже агенты, утверждают, что их не вытаскивают; они так ловко подставляют ногу, что дверь остается открытой, и они входят в дом. Главное, надо входить с любезной улыбкой, развязно, — учат они его.

Нет, он неспособный продавец, недаром на фабрике все косятся на него, говорят, что он верно днем спит, а не ходит по квартирам. Никто не верит, что он работает с утра до ночи как лошадь. Ходит по длинным улицам, взбирается на высокие лестницы, звонит в чужие двери и надоедает занятым женщинам. Все это проделывает он механически, как во сне. Не любит он своего дела. Он чужой в Нью-Йорке, ему не повезло. Он все ходит и думает об одном и том же: о своей старой родине по ту сторону океана, о своих товарищах по университету. Но больше всего он думает об Эстер, которая ждет, что он заработает много денег и возьмет ее сюда. Вот если бы продать побольше пылесосов...

— Обратите внимание, лэди, на это устройство, — говорит он, вытаскивая из-за спины аппарат, как его учили. — Это — никель. Никогда не чернеет. Посмотрите какая материя. Вся пыль, которая попадает сюда...

Лэди стоит перед ним в резиновом переднике, с красными и мыльными руками и, делая страдальческое лицо, нетерпеливо ждет, когда он кончит. Он понимает, что мешает ей, ему самому неприятно, но он продолжает уныло:

— К тому же пылесос удивительно легкий, он прямо сам летает по ковру.

— Я же вам сказала, что у меня есть пылесос, с меня

довольно одного, — сердито говорит женщина и пожимает плечами.

Он, как его учили, старается быть еще нахальнее: входит в комнату и показывает на ковре как легко и хорошо чистит его пылесос. Но тут женщина вдруг вскрикивает:

— Господи, сгорят все мои котлеты!

Этого он не может выдержать. Он извиняется и уходя слышит, как хлопает за ним дверь.

Он взбирается этажом выше, прочитывает табличку.

— Дома миссис Леви? — спрашивает он у открывшего ему мальчика.

— Дома, — отвечает ребенок.

— Кто это, Бобби? — кричит визгливый голос из соседней комнаты.

— Не знаю... какой-то...

— Вам что угодно? — строго спрашивает его полная женщина, выростая перед ним.

Он поспешно вытаскивает свой пылесос и делает любезное лицо.

— Опять пылесос. Это уже пятый сегодня. Да что это за наказание такое! Сговорились вы, что-ли?

— Лэди, — продолжает он, — извините меня, но эта машина не в пример прочим. Эта машина...

— Мне некогда с вами разговаривать, я занята. У меня грудной ребенок.

И так как он не уходит, она кричит:

— Бобби, постой тут пока я не вернусь!

Он понимает, что его опасаются оставить одного и дают ему ребенка в сторожа. Мальчик, положив в рот палец, в упор смотрит на него, затем говорит:

— Можно посмотреть твою штучку?

— Можно, можно, — отвечает он ласково, ему приятно, что хоть ребенок заинтересовался его аппаратом. Минут через десять из соседней комнаты снова слышится голос:

— Бобби, кто там? Неужели он еще не ушел?

И опять появляется перед ним полная женщина, застегивая на груди свою блузку.

— Боже мой! Какой вы нахал! Я же вам сказала, что мне не нужны пылесосы.

И уходя он слышит за дверью:

— Шляются, бездельники.

Как непохожи все эти сердитые женщины на его Эстер, такую бледную и нежную. Она не смогла бы так прогнать человека, так кричать. И он живо вспоминает ее добрые голубые глаза, ее слабые руки.

Не зайти ли еще сюда? Он читает табличку, звонит. Открывает молодая женщина, и он быстро переступает порог.

— Я пришел предложить вам пылесос самой лучшей фирмы, — говорит он развязно.

— А? Пылесос? Зайдите, пожалуйста, — приглашает она.

Его просят зайти, это случается с ним редко. Он входит в небольшую комнатку и демонстрирует, как легко работает его машина. Женщина улыбается, предлагает ему присесть. Он садится и тут же начинает чувствовать как он устал, как горят его ноги. Но говорить сидя он не привык — и умолкает. Ему кажется, что женщина напротив немного похожа на его Эстер, бледная, со слабыми белыми руками.

Женщина тоже молчит. И вдруг ему представляется, что когда-то давно все это уже было с ним — он сидел в такой комнате, и эта самая женщина смотрела на него... Он спохватывается, когда она заговаривает:

— Нам нужен пылесос. Муж любит ковры, но их надо чистить. Это так трудно.

— О, лэди, как это трудно, — подхватывает он с увлечением, забывая о своей роли. — Какая тяжелая жизнь!

И он рассказывает ей, что он приезжий, что ему не повезло. На родине он был студентом, у него там осталось много товарищей, невеста...

— Она тоже как вы, то-есть похожа на вас... она слабая, и руки у нее слабые.

Женщина смотрит на свои руки и вздыхает:

— Да, тут не легкая жизнь, особенно, когда еще ковры...

Он, чувствуя к ней благодарность и нежность, продолжает:

— О, лэди, только не чистите их пылесосом. Уверю вас, что просто мокрым веником -- гораздо легче, тем более, если у вас слабые и нежные руки. Да и пылесосы эти каждый раз портятся. Позвольте, я почищу ваш ковер.

И он с увлечением проходит несколько раз по ковру.

— Вот видите, руки покраснели, и сердце забилося, прямо, вредно для здоровья.

— Так вы думаете — просто мокрым веником? — задумчиво спрашивает женщина.

— Да, да, это самое лучшее, уверю вас.

И рассказав ей еще кой-что о своем старом доме и о невесте, он уходит, очень довольный.

А пылесос она так и не купила. Он отговорил ее.

М а р и я

После обеда с обильными возлияниями Сэм и Вильям, два молодых адвоката с хорошей практикой, уселись друг против друга на мягких качалках и закурили. Разговаривать не хотелось, и от вина приятно шумело в голове. Сэм, как хозяин дома, счел, однако, своим долгом занять гостя. Он начал с сального анекдота. Вильям улыбнулся из вежливости. Заметив, что глаза его друга слипаются, Сэм закричал:

— Ну, ну, не спи, что мы, старички что-ли!

И он заговорил о знакомых девицах. Вильям оживился.

— Вот тема, которая может поднять даже мертвого, — сказал он.

Сэм, увлекшийся собственным красноречием, разбирал женщин как художник, как психолог и как анатом.

— Я видел тебя прошлый раз с какой-то новенькой брюнеткой, — сказал Вильям.

— А? Эта. Она не брюнетка, а скорее шатенка. У нее длинные волосы и чудная фигура. Но я ведь тебя познакомил с ней.

— Да, она мне не очень то понравилась, черезчур умна, не люблю таких.

— А как насчет ее красоты?

— Ничего особенного.

— Ну вот, а ты ей понравился. Она сказала: «Какое интересное энергичное лицо у этого блондина».

— Везет, подумашь. Я не помню даже ее имени.

— Ее зовут Мария. Мария Захаровна. Она недавно из Советского Союза. Приехала к сестре.

— Ты сказал тогда — миссис. Где же ее муж?

— А муж и ребенок остались там. Ей тридцать лет.

— Неужели? Я думал меньше. Ну, а как твои дела с ней?

— Какие дела? Разве с ней могут быть какие-нибудь дела. Я называю ее «святая Мария».

— Отчего так? — удивился Вильям и закурил вторую папиросу.

— Не знаю, она такая...

— Какая?

— Сам увидишь. Не как все.

— Ну-у, не верю. Тем более — из России. Свободная любовь и тому подобное.

— Боюсь, что даже ты сломал бы с ней шею.

— Я? — Вильям звучно расхохотался. — Хочешь пари?

— Идет.

— Я возьму тебя к ней завтра, — сказал Сэм. А ты не медля начни наступление.

— Прекрасно. Через неделю, ну, скажем, две — узнаешь, кто проиграл.

У Вильяма был определенный взгляд на жизнь. Он находил, что надо только иметь ум, действовать решительно и по заранее выработанному плану. Он считал, что самая большая радость в жизни—любить женщин. Легкие победы оставляли его равнодушным. Чем труднее доставалась женщина, тем он ее больше ценил. Поэтому за «святую Марию» он принял-ся шутя, для забавы. И действительно, ровно через неделю он звонил Сэму, что его дела идут на лад: сегодня у них назначено свидание в библиотеке на 42-ой улице.

Приехав в библиотеку, он удивился, что Мария там. Она радостно подала ему руку и шопотом сказала, что уже два часа читает.

— Два часа?

— Ну, да, Я нашла замечательную книгу по авиации, ведь мой муж летчик, я интересуюсь. Завтра опять приду, кончить.

«Врет», подумал Вильям. «Испугался я ее авиации». И взяв ее под руку он вывел ее из библиотеки.

— Куда же мы пойдем?

— О, это мне безразлично. Но почему бы и вам ее не прочесть...

Она с увлечением заговорила об авиации. Вильям вел ее под руку по Пятому авеню и с досадой думал: «Что она, дура или представляется. Приехала на свидание и говорит об авиации».

— Я надеялась, что мы почитаем с вами, — сказала она, заглянув ему в глаза.

«Представляется», промелькнуло у него в голове, и он развязно заметил:

— Но зачем же вместе читать? Читать можно отдельно.

— Я очень люблю читать вместе и спорить.

— О чем спорить? — спросил Вильям, глядя на тяжелый узел ее волос.

— Ну, мало ли. Столько вопросов.

«Нет, она просто дура. Но ничего, она недурна».

— У нас в Киеве мы образовали клуб спорщиков.

— Никогда бы не сказал, что вам тридцать лет, — перебил он, прижимая к себе ее локоть.

— Мне тридцать два, скоро тридцать три. — Она по-детски улыбнулась.

— Тридцать два? Вы старше меня на два года. Никогда бы не сказал.

— Да? Это оттого что я худая. Вот попробуйте, тут у меня кость.

И она взяла его руку и приложила к своему бедру.

— Видите?

Вильям смутился. Это было, кажется, в первый раз, что его смутила женщина.

— Куда же мы пойдем? — спросил он еще раз, и неожиданно для самого себя прибавил: — А вы, милая, нравитесь мне.

— Вы мне тоже понравились с первого взгляда. У вас такое открытое, энергичное лицо.

— Да? Я понравился вам? — сказал он небрежно. Но вдруг почувствовал, что он, Вильям, не умеет разговаривать с женщинами, что все его приемы — шаблон, что он неуклюж, неопытен, неловок перед этой иностранкой.

Стараясь держать ее под руку как можно почтительней, он сказал: — Вы странная женщина, Мария.

Она расхохоталась.

— Я-то? Самая обыкновенная. О, у нас есть интересные женщины.

И она с жаром стала говорить, какие у них есть интересные женщины. Затем она рассказала ему о своем муже, о ребенке, с таким же воодушевлением, как говорила только что об авиации. Он уже не спрашивал куда бы им зайти, он отвез ее домой и, прощаясь, поколебался поцеловать ли ей руку.

Кто она? Невинное дитя или опытная кокетка, задавал он в сотый раз себе вопрос. Все испытанные приемы никуда не

годились. Как думать о победе, если она отвечает с сердечной простотой и доверчивостью. Ему вдруг захотелось стать лучше, умнее, образованнее... Он даже поймал себя на том, что немного робеет перед ней. И раз, набравшись смелости, заговорил о любви, о свободной любви.

Она с жаром стала объяснять, как ее правительство борется теперь с развратом.

«Ну вот, изволь-ка, обними ее», думал он, нервно куря папиросу за папиросой. И ему пришлось согласиться, что с развратом бороться необходимо.

Если он не видел ее два дня, он скучал. Иногда ему казалось, что она нарочно мучает его. А то вдруг представлялось, что она ничего не замечает и просто рада поспорить. Ему хотелось обнять ее, а между тем он боялся, что она возьмет его руку и скажет:

— А ну-ка попробуйте, тут у меня кость.

Когда он узнал об ее отъезде, то почувствовал себя как человек, которому сообщили, что он потерял все свое состояние. Ему стало ясно, что он любит ее, не смея мечтать о ней, что быть около нее — уже счастье.

За день до ее отъезда он, кажется, сказал ей это, не забываясь, что из другой комнаты их могут услышать. Кажется, он примостился у ее ног и, положив ей голову на колени, рассказал о пари с Сэмом и называл себя подлецом.

А она гладила ему волосы и горячо доказывала, что правительство само должно бороться с развратом, что разврат можно искоренить, если только взяться как следует.

Он провожал ее на пароход. Он смотрел на ее синий шарф, развевающийся по ветру, и думал, что так вот и его душа летит за ней.

Через неделю он начал хлопотать о визе в Россию.

ГЕНРИХ МАНН

ВООБРАЖАЕМАЯ ВСТРЕЧА

Статья выдающегося немецкого писателя Генриха Манна, написанная специально для «Новоселья», рисует воображаемую встречу трех государственных деятелей Европы.

Двое из собеседников — члены французского правительства — коммунист и либерал; третий — эмиссар Советского Союза.

Министр-либерал: Мы вас не ждали так рано.

Эмиссар: Говоря откровенно, вы меня вообще не ждали. Вам ведь не полагается принимать меня без предварительного сговора. Нас могут заподозрить в тайных кознях.

Министр-коммунист: Вполне естественно, что мы хотим действовать сообща — ведь мы, как и вы, терпели в Совете Безопасности одно поражение за другим.

Эмиссар: За мной, товарищ, дело не станет. Но я должен вас предупредить: вся эта история с Франко вышла из-за нас. Его положение упрочилось только потому, что первым выступило против него советское правительство. Его будут ревностно защищать, пока мы будем им интересоваться, да, пожалуй, и тогда, когда мы станем делать вид, что позабыли о нем.

Коммунист: Как бы то ни было, Франции приходится иметь дело с опасным соседом.

Либерал: Присутствие заразного больного — угроза для целой Европы. Плоды наших неудач в Совете Безопасности пожинает весь континент. И все же, даже страны, правильно оценивающие международную обстановку, предпочитают голосовать против Франции. Они попросту сознают бессилие очутившейся в тисках Европы и свою зависимость от великих держав, внушающих им одинаковый страх; и чем правдоподобнее перспектива столкновения между этими державами, тем страх сильнее. Ведь если вспыхнет война, Европа будет полем битвы, и это ей недешево обойдется.

Коммунист: Бедные европейцы очутились в западне. Осажденные, парализованные, ущемленные, они чувствуют, что единственное их оружие — беспримерное смирение, и обращаются за поддержкой к тому, у кого туго набиты карманы. Они понимают, что тем, кто проявит симпатию к Советскому Союзу, в этой поддержке будет отказано.

Эмиссар: Европа дорого заплатила за спор о мировой гегемонии, и теперь вопит, чтобы ее накормили.

Либерал: Простите, французы не вопят.

Эмиссар: Это верно, но вам ведь известно то, о чем не принято говорить в приличном обществе: вы получили от нас немало хлеба.

Либерал: Мы не отрицаем, что вы способны на жертвы.

Эмиссар: Быть может, но никто нам этого не ставит в заслугу. Нас принято считать загадочными и глубокими, в то время как мы — всего навсего осторожный народ. Опасаясь нового нападения, мы зорко следим за соседями и требуем свободного доступа к морям.

Либерал: Что бы вы ни делали, вы для нас остаетесь загадкой. Притом всякая могущественная держава — потенциальная угроза миру, а уж совсем беда, если таких держав две или три, и они могут перегрызть друг другу горло. Тем более, что в наше время нет морального авторитета, который мог бы этому помешать.

Эмиссар: Что вы этим хотите сказать?

Либерал: Я говорю об Европе как совокупности народов, несущих ответственность за общее детище — цивилизацию. Европейская цивилизация в опасности, ведь испытания не проходят бесследно. В былые времена духовная общность народов нашего материка неоднократно пресекала или замедляла конфликты не менее серьезные, чем современные; но тогда совесть Европы не была парализована, и общественное мнение было силой, с которой приходилось считаться.

Эмиссар: И все-таки на территории Европы часто возникали вооруженные конфликты, которых не удавалось предотвратить. Теперь наступила пора расплаты.

Либерал: Приходится признать, что в наше время агрессоры научились хвастаться беспощадностью и угрожать странам, которые им не по душе, полным уничтожением. К сожалению, народы, победившие фашизм, отчасти усвоили язык

фашистов. На наших глазах, под предлогом научных исследований, ведется работа над средствами, укрепляющими безудержный, неподлежащий контролю империализм. Создается предшествующая каждой войне уверенность в том, что катастрофа неминуема.

Эмиссар: Быть может, людям еще долго придется жить под угрозой войн. Но нашу страну никто не может упрекнуть в том, что она укрепляет свой престиж среди народов мира при помощи бомбы особого типа. Из этой бомбы сделали своеобразный антикоммунистический фетиш. Дошедший до гомерических размеров страх мешает многим европейцам оценить по достоинству созданные нами формы жизни.

Либерал: То, что вы говорите, не относится к Франции: мы не испугались бомбы и не пытались проникнуть в секрет ее изготовления.

Эмиссар: Так почему же вы не решаетесь оказать поддержку стране, которая вся — сознательно или инстинктивно — устремлена в будущее не одного только народа, но всего человечества.

Либерал: Я во многом с вами согласен, но вы забываете, что нам нужна еще свобода.

Коммунист: Свобода — это завершение. Ее пора наступит, когда во всех странах восторжествует социализм. Но к этому я не хочу идти через войну. Новая война — это разорение Франции и гибель Европы.

Эмиссар: За Францию вам нечего бояться. А на Европе вы как будто и сами поставили крест. Что же вы так тревожитесь? Не поймите меня превратно — я тоже не хочу войны.

Коммунист: Франция без Европы — ничто. Если Европа вошла в полосу затмения, надо приложить все усилия к тому, чтобы она снова озарилась светом. Голос Франции теперь едва слышен, ибо Европа безмолвствует.

Либерал: И будет безмолвствовать до тех пор, пока Франция останется единственной защитницей ее интересов.

Эмиссар: Вы непоследовательны. Вот вы требуете для себя Рейнской и Рурской области. Можно ли это назвать защитой интересов Европы?

Либерал, поддерживаемый Коммунистом: Без всякого сомнения, ибо это обеспечит мир на нашем континенте, хотя бы на время, в ожидании коренных преобразований. Жизненные

интересы Франции совпадают теперь более, чем когда-либо, с нуждами Европы.

Эмиссар: Но не с интересами Германии, я полагаю.

Либерал: Для Германии самое важное — сохранить свое единство и свою столицу, которая была когда-то одним из мировых центров.

Коммунист: Наши немецкие товарищи не возражали против аннексий на востоке, но они никак не могут примириться с уступкой западных областей, историческое значение которых сравнительно невелико. Не думаю, впрочем, что в ближайшем будущем, когда организация жизни на началах социализма даст толчок к объединению народов, границы между государствами сохранят прежнее значение.

Эмиссар: Границы могут снова стать важным фактором, если война, которой никто не хочет, все-таки разразится. Я не удивляюсь немцам: они рискуют многим.

Либерал: Хуже чем теперь не будет, контроль над военной промышленностью, которая дважды была источником катастрофы, поручен одной из стран-победительниц; ее нельзя подозревать в сознательной нелояльности, но ее поступки слишком часто идут вразрез с намерениями.

Эмиссар: Мы об этом можем кое-что порассказать.

Либерал: Нам давно обещан был германский уголь, и в конце концов мы стали получать его в количестве, превышающем добычу французских копей. К сожалению, картина изменилась, когда в Германии усилилось производство стали. Но, кстати, понять, к чему столько стали разоруженной стране. Трудно, кстати, понять, к чему столько стали разоруженной стране. Поневоле возникают сомнения, разоружена ли она на самом деле.

Коммунист: С разоружением Германии дело обстоит так же плохо, как с ликвидацией нацизма. Даже в нашей оккупационной зоне творятся иногда неслыханные вещи: повидимому, некоторые должностные лица считают себя вправе подражать союзникам. Франция, однако, не может сослаться в свое оправдание на боязнь советской агрессии.

Эмиссар: Надеюсь также, что она не претендует на роль чемпиона в борьбе с нашей страной. Хватит того, что один из союзников специализировался на разжигании ненависти к СССР.

Либерал: Этому должен быть положен конец.

Эмиссар: Каким образом?

Либерал: Я знаю одно лишь средство: федерация народов Европы.

Эмиссар: Для меня это слово, лишенное смысла. Подумайте только, какое место займет ваша федерация в среде Объединенных Наций. Пока различные страны будут объединены прежде всего желанием насолить Советскому Союзу, создание федерации ни к чему не поведет: сам факт вступления в федерацию не изменит психологии народов.

Коммунист: Я не ручаюсь за успех федерации, но не считаю положение безнадежным: ведь мы рассчитываем и на ваше участие.

Эмиссар: Если мы войдем в вашу федерацию, нам придется на каждом шагу сталкиваться с такими же проявлениями недоброжелательности, как в среде Объединенных Наций. Эта организация начала свою работу с того, что в пик нашей стране приняла в свой состав фашистское государство. Но это штука обоюдоострая: опальные страны иной раз могут самостоятельно вступать в переговоры. Постоянные неудачи при голосованиях не способствуют, конечно, усилению государственного престижа.

Либерал: Нас в этом не приходится убеждать: ясно, что выход должен быть найден.

Эмиссар: Боюсь, что мы скоро начнем с сожалением вспоминать добрую старую Лигу Наций. Россию оттуда без церемоний выпроводили, и это в конце концов пошло ей на пользу; ей не приходится отчитываться перед потомством за непоследовательную и малодушную политику Лиги. Мое мнение таково: в федерации ей тоже нечего делать.

Либерал: Это очень прискорбно. Я уверен, что Англия войдет в состав нашей организации.

Эмиссар: Вы только представьте себе, что произойдет, когда обе эти державы усядутся рядом. В тесном кругу страсти будут разгораться еще сильнее чем в Совете Безопасности, где заседают народы, далекие географически и не склонные принимать на себя бремя ответственности. Европейская Федерация не может уклоняться от ответственности за принятые решения, ибо это нанесло бы ущерб моральному престижу Европы. Но по отношению к Объединенным Нациям она останется чисто совещательным органом. Ручаюсь вам, не пройдет и года, как организация, бессильная и обуреваемая страстями, станет застрельщицей новой войны.

Коммунист: Мне кажется немыслимым, чтобы Федерация

рискнула поставить на обсуждение вопрос о войне. Война, как известно, рождается из опасений и угроз. В Европе не перевелись еще ни фанатики, ни люди, которым война выгодна. Но я не могу допустить мысли, что авторитетный орган может поддаться наущениям поджигателей. Это означало бы моральный крах Европы.

Эмиссар: Кризис морали, который мы наблюдаем, будет изжит не сразу. Не забывайте, что вы имеете дело с организмом, еще не оправившимся от болезни, — ему неоткуда черпать энергию. Зато некоторые народы научились искусно использовать конфликты между своими прежними противниками. В советской зоне многие гордятся реформами, которые были проведены новой властью; у них самих не хватило бы на это пороку. Зато в английской зоне они радуются тому, что победители оставили часть армии нетронутой. Вот вы, товарищ, говорите о всеевропейском объединении, а между тем все страны Европы, за исключением нашей, страдают от идейного разброда.

Либерал: Точнее — большинство стран. Франция идет своим путем. Ей идейный разброд не угрожает.

Эмиссар: Французы попросту благоразумнее других. Борьба с коммунизмом принесла им много вреда, и они свели ее к минимуму, чтобы сохранить равновесие. Притом Франция предполагает постепенно вводить коренные реформы.

Либерал: Реформы эти, кстати, ничего общего не имеют с прямолинейным коммунизмом. Франция немало может внести в Организацию Объединенных Наций, но главной ареной ее деятельности должна стать Европейская Федерация.

Эмиссар: Я наконец понял в чем дело. Задача Федерации — поднять престиж Франции. Вы надеетесь, что народы нашего материка, которым надоела зависимость от трех великих держав, добровольно согласятся признать авторитет Франции.

Коммунист: Ну что же, товарищ, я в этом беды не вижу.

Либерал: Это естественно, ибо Франция готовится воскресить самые ценные свои традиции. В наиболее творческие периоды своей истории она всегда поворачивалась лицом к Европе.

Эмиссар: Вы имеете в виду периоды революции. Но народы Европы долго не могли вам простить ваших завоевательных войн.

Коммунист: Страна, прошедшая через ряд революционных потрясений, не захочет нового Наполеона; с нас хватит

одного опыта. Мы всегда опережали другие страны по крайней мере лет на сто. Так оно, вероятно, будет и теперь. Немцам понадобилась новая военная катастрофа и полный разгром, чтобы они прозрели.

Эмиссар: А вы уверены, что у них действительно открылись глаза?

Либерал: Германия избавится от слепоты гораздо быстрее, если будет иметь дело не с державами-соперницами, контролирующими Европу, а с федерацией народов...

Эмиссар: Во главе которой будет стоять Франция.

Либерал: Позвольте вас спросить, а кто по вашему должен стоять во главе? Ведь Европа низведена до положения колонии. Для некоторых она просто этап по пути в Индию.

Эмиссар: Мы это всегда говорили.

Либерал: А для других самое ценное в Европе — несколько портов.

Эмиссар: Это не одно и то же.

Либерал: Франция тоже империя, но она не претендует на монополию на Средиземном море. Имея колонии, она не помышляет о новой мировой войне. Она, конечно, поставлена в выгодное положение, но это не уменьшает ее заслуг.

Эмиссар: Вполне с вами согласен.

Либерал: Европа, однако, не в таком состоянии, чтобы мы окончательно поставили на ней крест. Надо вывести ее из протрации и постыдной зависимости.

Эмиссар: Это может сделать только социализм.

Либерал: При одном условии, если он будет создан по образу и подобию Европы.

Коммунист: Еще одно условие: придется вооружиться терпением.

Либерал: Франция — единственная страна на европейском континенте, на которую возложена историческая миссия. Эта идея давно живет в умах, ее не придется никому навязывать. Изолированные национальные организмы, предоставленные самим себе, среди наций, мнящих себя объединенными, не будут инициаторами федерации. Их должна повести за собой Франция, которой снова суждено выступить в памятной всему миру роли зачинательницы. Так воскреснет ее моральный авторитет, возникший в те дни, когда европейский творческий гений формировал облик мира. Наша страна вновь обретет прежний духовный престиж.

Эмиссар: Вы слишком увлекаетесь. В ваших словах есть

доля правды, но эта правда чужда нашей эпохе.

Коммунист: Поэтому нелегко ее проповедовать. Иногда защита очевидных истин требует больших усилий.

Либерал: Вот вам очевидная истина: Франция — единственная страна в Европе, сохранившая свое значение как цивилизаторская сила. И когда на другом материке говорят об Европе, об ее расцвете и плодах ее творчества, в голову неизменно приходит имя нашей страны. Неудивительно, что Франция, ставшая живым воплощением европейской культуры, всегда была второй родиной для каждого, кто считал себя европейцем.

Эмиссар: И в особенности для тех, у кого не было другой родины. Но мне не хочется с вами спорить. Вы слишком взволнованы.

Коммунист: Товарищ, ваша сдержанность объясняется не только боязнью задеть наше национальное самолюбие. Вы сами сознаете, что Франция, стремясь к объединению Европы, руководится альтруистическими побуждениями. Националистам прошлого века эти стремления были чужды. Третья Республика, многие черты которой лишь со временем будут оценены по достоинству, страдала пороком изоляционизма. Отказываясь брать на себя ответственность за то, что происходит вне ее пределов, она под конец впала в грех невмешательства. Это был плод настроений, господствовавших в стране в течение шестидесяти лет.

Эмиссар: По моему, у современной Франции одно призвание — стать очагом социализма. Но ведь и вы, товарищ, не всегда с нами согласны.

Коммунист: У нас есть для этого особый термин: инструкции из Москвы.

Либерал: Я готов получать инструкции откуда угодно — из Москвы или из Лондона, лишь бы соперничающие между собой державы вошли в состав Федерации и научились отдавать должное Франции. Ведь несмотря на то, что у нее все отнято, она осталась верна себе; не знаю другой страны, которая бы сумела в этой обстановке держать себя так независимо.

Эмиссар: Мы все это понимаем, и мы ведь добиваемся только, чтобы нас не отодвигали на задний план и научились ценить наши неслыханные жертвы, которые стали залогом победы.

Коммунист: Англия ответит вам, что она защищает

Империю, для которой ваш выход на мировую арену является угрозой.

Либерал: Если две могущественные державы не подчиняются авторитету сверхнационального органа, конфликт между ними неизбежен. Настала пора повернуть колесо истории. Объединенная Европа не постесняется высказать то, что у всех на уме; мы полагаем, что и Советский Союз, и Великобритания склонны переоценивать свою роль. Подвиги этих обеих стран в сущности не что иное, как проявление европейского гения. Тот, кто унижает Европу, унижает самого себя. Ведь теперь создалась атмосфера, нестерпимая даже для тех, кто сохранял мужество в самые страшные дни войны.

Эмиссар: Вы должны признать, что и мы, как нам порой ни горько, избегаем ненужных манифестаций.

Коммунист: Это вне всякого сомнения. С первого дня существования Организации Объединенных Наций Советский Союз является мишенью для нападок. И засекреченная бомба, и явные вооружения, и надоевший всем механизм антисоветской пропаганды — что все это означает?

Либерал: Это означает, что страны боятся собственной мощи, непомерно разросшейся и не подлежащей контролю. В такой атмосфере бациллы войны внедряются в сознание еще до того, как наступает взрыв. Если проклятые немцы обзавелись Гитлером и затеяли войну, это произошло оттого, что Лига Наций не выполнила своего назначения. Если даже Европейской Федерации не удастся предотвратить конфликта, она сможет противодействовать вооруженным выступлениям. Мы убедимся на деле, что народы Европы, в отличие от других, чуют агрессора издалека: горький опыт научил их многому.

Эмиссар: Вы верите, что Европа, превратясь в Федеративный Союз, станет, благодаря этому, просоветской?

Либерал: Несомненно. Но в то же время она будет и пробританской. Вы забыли, что мы скептики по натуре, а скептицизм — это высшее достижение мысли. Для истинного европейца не существует спора между коммунизмом и антикоммунизмом. Социальная революция владеет нами, хотим мы этого или нет; она действует через нас, хотя нам кажется, что мы ей сопротивляемся. Подумать только: в самые жуткие дни войны в Англии возник план, обеспечивающий каждому безбедное существование от колыбели до могилы. Многие были склонны преувеличивать значение этого плана, утверждая, что автор его приближается к социализму советского

типа. А вот теперь полюбуйтесь: в английской зоне Германии понемногу возрождается нацизм!

Эмиссар: Мы с вами все-таки люди различного склада. Ваши поступки и мысли часто продиктованы скептицизмом. Мы же — народ жизнеутверждающий. Оттого то мы и берем на себя осуществление наказов будущего.

Коммунист: На этом пути все мы встретимся. Возьмите, как пример, работу над атомной энергией. Еще недавно никому не приходило в голову, что французская наука обладает не меньшими возможностями, чем немецкая. А между тем в последнее время ходят слухи...

Либерал: Пока еще не стоит об этом говорить...

Коммунист: Я не вижу надобности держать это в секрете. Поговаривают, будто во Франции открыт новый способ использования атомной энергии, и наша страна не намерена хранить его в тайне. На этой почве может возникнуть деликатная связь между двумя отдаленными друг от друга государствами Европы.

Либерал: Мы не нуждаемся в конспирации. Такие связи идут в разных направлениях. Судьба Франции неотделима отныне от судьбы как ее союзников, так и недавних врагов. И для нее, и для других народов спасение в том, чтобы признать Европу общей родиной.

Эмиссар: Вы ставили упрек большим державам, что они страдают манией величия. Боюсь, что вы страдаете той же болезнью, преувеличивая значение Европы. Может быть, величие моей страны тоже ничто иное, как эманация величия Европы. Но я не могу проникнуться вашим энтузиазмом скептика. У меня нет уверенности, что прежний моральный авторитет Европы возродится. Возможно, что исторический цикл уже завершен. В таком случае Федерация будет мостом в прошлое, а не в будущее.

Либерал: Нужно стать лицом к прошлому, чтобы строить на прочном фундаменте здание будущего. Я уверен, что вы скоро поймете, какие преимущества дает вам Европейская Федерация: она вводит вас в самую гущу жизни. В ее составе не будет ни привилегированных, ни опальных членов, как в среде Объединенных Наций, и притязания победителя не встретят отклика.

Эмиссар: Но в Организации Объединенных Наций Европа всегда будет меньшинством. Не забывайте также, что треть ее населения там совсем не представлена.

Новоселье

Либерал: По моему, в будущем необходимо дать доступ в Федерацию и побежденным народам; они представляют большую опасность в условиях суровой изоляции.

Коммунист: Я думаю, эти народы тоже научатся создавать формы жизни, в которых коллективизм уживается со свободой. Этому будет способствовать благодатный климат нашей цивилизации.

Либерал: Мы слишком усложняем вопрос. Европа, ставшая союзом народов, вскоре может оказаться в большинстве в Совете Безопасности и вернуть себе утерянный авторитет.

Эмиссар: Если эпоха, повергшая мир во мрак, действительно, подходит к концу, все, не исключая профессиональных человеконенавистников, будут искать опору в Федерации, возглавляемой Францией. Впрочем, мало надежды, чтобы она возникла в ближайшем будущем.

Коммунист: А пока сойдемся на том, что самая насущная потребность человечества — это мир.

Либерал: И что творить дело мира надо сообща.

Эмиссар: Не имею возражений.

ВЕСНА В ЧАПЕЕ

Рано утром, чуть начнет светать, по гулким спросонок коридорам, мимо знакомых дверей с надписями «Вход в кабинет коменданта воспрещается», «№ 306 — Парк авеню», «Львиная берлога» (и рисунок — львиная голова со свирепопразинутой пастью — это № 106, здесь живут футболисты), — вниз по лестнице, за порог нашей тюрьмы и потом, мимо цветника, где слабо пахнет распускающейся гвоздикой, по тополевой аллейке — в сад.

Весна! Весна даже в концлагере, за колючей проволокой, под раскосыми взглядами вооруженной солдатни.

За тополевой аллейкой еще аллейка, вдоль канала, где нежные, слабые ивы, переламываясь, льнут к воде, где слышны всплески и шорохи, где какие-то птицы синего цвета низко летят над водой, расчеркивая крыльями тихую дрожь канала. Истончается, тает прозрачная, ущербная луна, туманно-розовая мгла бродит в просветах тополей. И весь наш сад посыпан махровой, медвяной кашкой.

Моя скамейка, темная от росы, находится в самом конце сада, у колючей проволоки. Здесь я каждое утро делаю гимнастику. И в это же время по полю за каналом идут из соседней деревни в город на работу пять молодых китайнок в бледно-синих халатах. За ними идет мальчишка-подросток, вертлявый и бритый наголо.

Несколько дней они молча наблюдали, как за каналом, за колючей проволокой кочевряжится белая дьяволица; потом привыкли к этому странному зрелищу, осмелели и стали каждое утро махать мне руками, улыбаться, а мальчишка даже бросил мне как-то три больших картошки. Эти картошки растрогали меня чуть-ли не до слез. Вечером мы их испекли и съели.

За гимнастикой почему-то вспоминается детство и цирк Изако, что помещался в Харбине, на Диагональной улице, вспоминается, как на арену выходили атлеты, зычно представляемые импрессарио:

— Парад-алле... чемпион-тяжеловес Иван Поддубный... лев Грузии Ваню Меделаури...

И духовой оркестр радостно взлетал цирковым маршем, грохоча всей своей бравой медью, тот самый оркестр, трубочкам которого я и Эльза Христиансен, показывали разрезанные пополам лимоны. За этим занятием нас однажды поймал сторож и торжественно вывел из передних рядов за уши. Потом нас дома пороли за хулиганство...

«Я нежно болен воспоминаниями детства»...

Детством пахнет это утреннее небо, и по детски выглядят тонкие ветки, золотисто-розовые против встающего сквозь туман солнца.

Весна, настоящая весна! Миссионеры обоего пола сняли свои стеганные китайские халаты, за зиму сделавшиеся дублеными от грязи, и одетые по-европейски, стали слегка птоходить на людей.

Вот, между расцветших вишневых кустов, — волны белого и розового тюля, — в самую заросль сада пробирается д-р Халлот, старейший обитатель Чапея: ему 86 лет. Низенький, с дремучей, седой бородой, согнутый в дугу, с клюкой, — Черномор, волшебник хилый. Д-р Халлот ботаник и разыскивает в нашем саду новые экспонаты. Одет доктор в неизменную черную пару, неснимаемую им в течение целого года; в этой же паре и в толстых штиблетах доктор отдыхает после обеда, спустив над кроватью москитник, почерневший от копоты. Под москитником он спит во все времена года...

— Здравствуйте, доктор.

— Здравствуйте, дитя мое. Какое чудесное утро. Сам Христос улыбается нам с небес...

У канала ребятишки ловят рыбу и лягушек, жирных, с белыми пузами. Крики, вопли, отнимают друг у друга удочки, мнут лягушек. Кому-то уже набили морду и обиженный рыдает злобным басом.

Британцы и британки, сухопарые, долговязые, режут журавлиными ногами пространство. На их лошадиных физиономиях с длинными, почти всегда гнилыми зубами, написано: «Я — веоннопленный, и горжусь этим. Правь, Британия»...

Наша достопримечательность, м-р К., дядюшка знаменитого кино-актера Рональда К., мумиеподобный рамолик с мо-

ноклем в глазу, отчего-то странно расширенном, как у сумасшедшего, одетый в серые брюки, клетчатый пиджак и прикрывший острый, голый череп жокейским картузиком с пупочкой, прогуливается с другим старичком. Последний имеет привычку медленно оглядывать проходящих мужчин, и я было заподозрила старичка в преступных наклонностях, пока не узнала, что его оценивающие взгляды являются взглядами профессионала: в городе он был мужским портным.

— Отличная шотландская шерсть, не слишком толстая, из нее шьются пальто и пиджаки именно вот для такой погоды...

— Мня, мня, мня, — бубнит м-р К.

— У меня немало шилось таких весенних пальто...

Портные, оказывается, и на весну смотрят с профессиональной точки зрения...

Но совсем по-иному воспринимает весну девчонка Лили, без памяти влюбленная в красивого францисканца, отца Жильбера. Как одержимая, она носится по лагерю, разыскивая его, а разыскав, удаляется с ним в сад, где отец Жильбер, по всем признакам, деятельно обращает Лили в лоно католической церкви: на скамейке лежит развернутый катехизис и еще какие-то благочестивые книжки. Но Лили не до катехизиса. Голубыми глазами молочного теленка она пожирает красивый профиль францисканца и млеет. Свои переживания Лили запечатлела в рассказе.

«Я выхожу на мостик и жду его. Вот он идет в своей развевающейся мантии, попыхивая папироской. Как он красив! Я чувствую, что во мне начинает закипать страсть. — Халло, Лили, — говорит он и я чувствую, что в нем тоже начинает закипать страсть. Попыхивая папироской, он стоит рядом со мной, сдерживая свою страсть, потому что он монах. Я смотрю на него гипнотизирующим взглядом. Не в силах больше сдерживать своей страсти, он закутывает меня в свою мантию, — и мы летим в бездну».

Конечно, отец Жильбер парень молодой, но подозреваю, что «страсти» наша писательница придумала от живости воображения.

Разбросав по ветру кудряшки, Лили мчится, как одуревший от весны теленок.

— Вы не видели отца Жильбера?

— Нет.

Новоселье

— Ах, значит он, наверно, там...

И сделав неопределенный жест, молодая безумица уносится дальше.

А вот по пояс в дурманной траве бредут, обнявшись, наши новобрачные, — Джон и Голди. Он — рыжий, молодой американец. Она — черненькая, хорошенькая голландочка.

Десять месяцев Джон жал Голди в кустах (или, если шел дождь, то жал за сундуками в коридоре). К весне, выражаясь слогом Лили, они не смогли больше сдержатъ свою страсть и решили пожениться.

Предстоящее событие было выставлено на посрамление и посмеяние всему Чапею. Оно обсуждалось до малейших подробностей и особенно, конечно, волновал всех жгучий вопрос: где молодые будут проводить свою брачную ночь? Неужели в «кубике», отделенные занавесками от остальных обитателей семейного дортуара?

По этому поводу отпускались различные предположения, густо приправленные аттической солью; шутники проходу не давали бедным влюбленным, и глядя на Джона и Голди, мужественно плававших в этом море бесстыдной пошлости, мне вспоминался чеховский Гриша: «Жениться, наверно, ужасно совестно»...

Наконец, свадьбу сыграли.

В день свадьбы чапейские модницы, приглашенные и неприглашенные на торжество, пустились на все уловки, чтобы выгладить слежавшиеся в чемоданах платья: их контрабандно гладили взятыми напрокат у кастелянши госпиталя утюгами, гладили их и металлическими грелками, наполненными кипятком. Менее удачливые модницы укладывали свои туалеты под матрасы и спали на них несколько ночей сряду.

Свадебный обряд был совершен отцом Керстом в сарае Е. Горели свечи, играл орган, невеста была, как водится, в белом платье, четыре ее подруги были тоже в белых платьях, сшитых чапейскими портнихами из москитников. Около сарая толпились любопытные, которые гоготали и галдели, несмотря на героические усилия чапейской полиции, пытавшейся сдержать напор толпы и внушить дикарям всю непристойность их поведения. На уговоры полиции толпа отвечала грубым смехом. Новобрачных по выходе встретили ревом, свистом, криками «ура», кто-то пытался сыграть на губах туш... Да, жениться, действительно, очень совестно.

Комитет отвел для Джона и Голди маленькую комнату

в здании Е; в этой комнате врачебный отдел устроил карантин. На счастье новобрачных она пустовала. Но и тут Джон и Голди не имели покоя: под их дверью всю ночь кто-то шушукался, хихикал и топал ногами.

Наутро из окон брачного покоя летело что-то белое. Было похоже, что Джон, подобно жениху из Пятисобачьего переулка, выпустил перину. Но нет, — это Голди просеивала муку, полученную ею в числе других свадебных подарков.

Сейчас, через месяц после свадьбы, все женское население лагеря взволнованно: беременна-ли Голди? А если беременна, — то на каком месяце...

Но молодожены продолжают плыть в море пошлости и, повидимому, оба они вполне счастливы. Я смотрю на их сияющие глупым счастьем лица, и мне отчего-то становится скучно до тоски. А тоска есть такое состояние души, когда можно рассмотреть себя со всех сторон, без зеркала, но единственно при помощи воображения...

Весна в Чапее? Лирика? Весеннее небо, застывшее в заревом огне? Чорта с два.

Дребезжит звонок. Поверка. Наш заведующий коридором, маленький миссионер, чрезвычайно похожий на крысенка, стучит в дверь дортуара на мотив «ламца-дри-ца-цаца» и радостно поздравляет нас с добрым утром.

— Пожалуйте на поверку, — радостно голосит он. — Какое прекрасное утро. Чудное утро!

— Пошел к чорту, — шопотом огрызается из своего угла Дафнэ Вернон.

— До чего надоел, крыса проклятая, — жалобно вздыхает Женья Ибри.

Поверка. Хочешь, не хочешь — иди. Обительницы четырех женских дортуаров нашего этажа вылезают из своих берлог и выстраиваются вдоль стен.

«Знакомые все лица». Вот девушки из № 306, — гвардейцы по росту и осанке — сердитые, с железными папилютками в волосах. Вот старухи из соседнего дортуара, злобные мегеры, приветствующие соседок фальшивыми улыбками. Вот толстоногая, скуластая бабища — она дожевывает кусок хлеба. Вот Сисси Муза, черномазая, долгоносая карлица, похожая на больную ворону, вот необыкновенно ядовитая бабушка Джонс, как-то странно поигрывающая своей вставной челюстью, вот мисс Л., густо запудрившая лиловые прыщи...

А это кто, зеленый от злобы, сатана-сатаной, стоит, вытянув, как полагается, руки по швам? А это я.

Балерина Нина Антарес улыбается лучистыми глазами и делает смешную гримасу: идут. Два часовых, заведующий зданием, заведующий коридором и переводчица.

— Номер 302, — докладывает часовому через переводчицу заведующий зданием. — Двадцать одна. Две больны, лежат в постели, девятнадцать налицо. Считайте, пожалуйста.

— Один, два, три, четыре...

— Двенадцать, тринадцать, четырнадцать...

— Пятнадцать, — улыбаясь, говорит Нина Антарес.

— Шестнадцать, — мрачно изрекает зеленолицая сатана.

Отсчитали.

— Иешь! — утробно вскрикивает часовой.

Кланяемся и маршируем в дортуар.

Через полчаса зеленолицая отправляется стирать. Из кранов прачешной, как назло, не льется вода и поэтому она тащит ведро, наполненное мокрым бельем, под краны котельного отделения. После стирки болит спина, дрожат ноги и страшно хочется есть, но есть нечего, и поэтому она намеренно долго принимает душ, а потом возвращается в свою комнату, полную тараторящего бабья. Женя Ибри не в духе, у нее «несварка», как она выражается, и поэтому Женя и зеленолицая начинают друг друга шпынять.

— У вас отвратительный характер, — говорит Женя. — И вообще, вы невозможный человек.

— Я невозможный человек? Зачем-же вы живете рядом со мной, если я невозможный человек?

Поругавшись, мы надуваемся, потом миримся. К этому времени нужно куда-нибудь бежать: обычно, в очередь, потому что жить в Чапее, как известно, это значит стоять в очереди. Затем наступает время завтрака. Едим сухари с вареньем и пьем кофе. Лагерный обед есть невозможно, до того он гадок.

Все еще хочется есть. Нужно почитать. Отвлечься. Зеленолицая усаживается с книгой на скамейку, что против лагерных ворот, и смотрит то в книгу, то на дорогу.

Вот проехал автомобиль под японским морским флагом. Китайцы идут неспешно мимо. «Бредут китайцы, желто-сини; им, вечным, все всегда равно», — писал один дальневосточ-

ный поэт. Прошли четыре полицейских. Мальчик с мячом выбежал на дорогу. А это что? Выжимая педали велосипеда, едет мимо лагеря европейская женщина. Одновременно, по дорожке лагеря, крайней к колючей проволоке, медленно идет высокий человек, плечистый, атлетический, с копной белокурых волос. Это — м-р Фрейдигер, а велосипедистка — его жена, проезжающая мимо лагеря каждый вторник. Муж за колючей проволокой и жена на велосипеде сравнялись. Она повернулась, улыбнулась и поехала дальше, в город.

М-р Фрейдигер подходит к скамейке, на которой сидит зеленоликая, голодная и злая сатана. Физиономия м-ра Фрейдигера озарена счастьем. Своей атлетической фигурой и белокурыми волосами, откинутыми назад, он напоминает Зигфрида. Сделав правой рукой широкий, оперный жест, м-р Фрейдигер, нараспев, произносит:

— Вы видели ее... Анну... мою жену?..

Глаза Зигфрида сияют. Посочувствовать бы, но зеленолицей хочется огрызнуться:

— Дурак ты, Зигфрид, и Анна твоя дура. Изловят вас часовые, набьют вам обоим физиономии...

Зигфрид смотрит в сторону города и продолжает декламировать что-то об Анне, по оперному разводя руками. Зеленоликая сидит, слушает и борется с голодом.

К пяти часам вечера из кухни начинает тянуть чем-то отвратительным. Готовят суп. Помнится, в журнале «Шанхайский базар» мы с Наташей Пэн писали, что хозяйки шанхайских меблированных комнат готовят для своих квартирантов суп из старых штанов хозяина. Ах, как мы были шаловливо-остроумны...

В шесть часов вечера зеленоликая готовит на хибаче ужин. Блинчики. Или жареную картошку. Или полкоробки мясных консервов. Интересно, какой вкус имеет свиная котлета — думает она.

Поднос с ужином она выносит на свежий воздух; за прачешной ею уже накрыт складной столик. Вокруг качаются на весеннем ветерке простыни и невыразимые, выстиранные обитателями Чапея. Жалят комары, кусаются толстые, зеленые мухи, смердит помойка... и назойливо лезет в голову все одна и та же мысль: когда-же мы выйдем из тюрьмы?

Повидимому, скоро. Так говорят все наши политики и стратеги. Вот они стоят между колонн здания W, под портиком, на манер греческих философов. Газета ими прочитана, и

теперь они заняты предположениями: что в газете будет напечатано завтра?

Весенний ветерок нанес нам множество всяких слухов. Поговаривают, что не позже будущей недели американские парашютисты начнут спускаться над Шанхаем.

— Из самых достоверных источников, — шепчут вестовщики, и их глаза округляются, как столовые ложки. — Майк Белл только что приехал из госпиталя... он рассказывает...

Бедняки забывают при этом, что Майк, молодой хулиган, сосредоточившийся на кухонном блате, преспокойно сфабриковал свою сенсацию по дороге из госпиталя в Чапей; Майка неоднократно уличали во вранье, но вестовщики, одержимые лихорадкой слухов, не успокаиваются: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман».

Иногда кто-нибудь получает с воли нелегальную записку, содержание которой распространяется с молниеносной быстротой. Иногда кроме жены Зигфрида проедет мимо лагеря какая-нибудь другая жена заключенного. Появление велосипедисток рьяно комментируется на все лады.

— Сегодня проезжала мимо жена Билли Хагемана. Это она неспроста. Жена Билли зря не проедет. Очевидно что-то произошло.

— Новости, новости! Билли Хагеман получил от жены письмо. Репатриация американцев будет через две недели.

— Вы слышали? В конторе уже составлены списки лиц, подлежащих исключению из лагеря по болезни. Билли Хагеману крикнула об этом через забор его жена.

— В среду комендант сделает важное заявление. Так сказал Билли Хагеман.

Наконец, допрошенный с пристрастием Билли сообщает, что своей жены он не видел вот уже больше месяца; может быть, она и проезжала на велосипеде, только он в это время работал в котельном отделении...

Но есть категория лиц, совершенно слухами не интересующаяся: к ней относятся девицы, занимающие свой девичий дортуар в здании W. Девицы все, как на подбор: высокие, здоровые, длинноногие. Ядреные девицы. Когда они появляются на лужайке перед лагерем, то кажется, что из душного стойла выгнали табун застоявшихся молодых кобылиц.

Девицам наплевать на политику: они играют в бэйсболл, флиртуют, гомерически хохочут и полны животной радости жизни. По вечерам они в обществе поклонников—громادных,

звероподобных футболистов, располагаются на верхней площадке здания, заводят грамфон, и наш коридор оглашается ишачьим ревом саксофона и веселым, забубенным треньканьем каких-то джазовых деревянных штучек.

— Возмутительно, безобразие, — шипят старухи и миссионерки, соседки девиц по дортуару.

Но девицам и их звероподобным молодцам весенний хмель буйно ударил в голову. Они подпевают грамфону, отбивают пудовыми ногами чечетку, молодцы регочут и грегочут; иногда на верхней площадке происходит состязание в борьбе и тогда сквозь джазовую несуразицу слышно пыхтение, кобылячье взвизгиванье и удары крепких ладоней по каким-то мягким частям девичьих тел.

Лишен интереса к новостям также «Клуб весельчаков», всецело занятый репетициями предстоящей постановки. Энтузиасты веселья каждый день устраивают спевку в сарае; орган, под который идет спевка, ревет, как больная корова, весельчаки с каменными лицами упрямо поют. Особенно старается русский женский хор. Поет этот хор, конечно: «Очи черные», «Две гитары» и «Коробейников».

— Подставляй-ка губки свои алые, — голоса наши землячки, при чем одна из них на слове «губки» ухарски взвизгивает.

Не интересуется слухами наша чапейско-шанхайская русская поэтесса. Она вяло бродит по аллеям, стараясь придать своему взгляду безумное выражение — какую-то неопределенную выпученность. Поэт ведь должен быть безумен. Гуляя с молодым человеком, она тоскует:

— Ой, как мне выпить хочется...

— Вы читали русскую газету? Наши опять перешли в наступление.

— Разве? Ой, меня некто не любит...

«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Но что делать тому, кто скверный гражданин и никуда не годный поэт? Поэтесса как-то показывала мне свои стихи; в них «душка» рифмовалась с «подушкой»... Еще я помню следующие строчки:

«Хорошо, что упрямы губы
Не умеющие целовать,
Хорошо порой из грубых
Ласку острую добывать»...

Новоселье

Я сказала бедняжке, что из «грубых» ласку, может быть, при известном усилии, добыть и можно, но из неталантливого человека хороших стихов не добудешь. Как ни старайся. Поэтесса обиделась...

Отказывается внимать ужасам войны некий м-р Эбрэхэм, молодой человек, волосатый, как Самсон, с печальными глазами. М-р Эбрэхэм — музыкант. Удалившись на другую сторону канала, м-р Эбрэхэм садится на кочку и вынимает из футляра свою флейту. Прямо против него «в степи грустят стога». Налево зеленая кипень рощицы. В воздухе реют и искрятся голубые стрекозы, на лучезарных крыльях летит радостный, свержающий день. М-р Эбрэхэм сидит на кочке и играет на флейте, бородатый, голый до пояса, настоящий Пан. Играет он часами, и музыка его необыкновенно печальна:

— Еще бы. Такого парня упрятали в концлагерь, рыдает флейта.

С весной чапейские кражи приняли, поистине, стихийный характер. Наш лагерь, вообще, славится вороватостью своих обитателей, но весной наши воры окончательно разнуздались.

Как голодные волки, они забегают в дортуары и крадут с полок пищу; воры крадут мыло, забытое в уборных рассыпными обладателями; воры снимают с веревок чужое белье.

А кто-то ухитрился обворовать годовалого младенца, оставленного на лужайке в колясочке; несчастный малютка был найден мамашей совершенно голым, в одной слюнявке...

С приходом весны тоска по воле сделалась совершенно непереносимой. По вечерам я сижу на скамейке у канала, слушаю, как ухают лягушки, смотрю на светляков, которые плывут друг за другом вдоль воды, как флотилия золотых корабликов, и навязчиво думаю: когда? когда?

Ночью меня изводит бессонница. Вокруг на разные голоса храпят, свистят, чавкают во сне мои сожители. Спускаюсь вниз, сижу на ступеньках подъезда, курю. Медленная луна постепенно сползает со середины неба за деревья. Вот как будто и нет ее, но вдруг ветер отнес ветки вбок, и между ветками плещется туманное серебро.

Этой весной над самым Чапеем пронеслось семь серебряных американских самолетов. Пронесли так низко, что мы видели, как пилот махал нам рукой.

Прошлая весна была полна надежд. Эта весна принесет победу.

С. ДУБНОВА

ПОДВИЖНИКИ ГЕТТО

Сборник стихов молодого еврейского поэта А. Суцкевера называется «Крепость». Но не название книги говорит об ее существе, а подзаголовок: «Стихи и поэмы, написанные в виленском гетто и в лесных убежищах в годы 1941-1944». Столько раз в эти годы далекий ветер приносил чад душегубок, заставляя нас задумываться над пределами человеческой жестокости и человеческой выносливости... И невольно возникали сомнения в емкости поэтического слова, обреченного воплощать неопишемое. Жизнь разрешила эти сомнения: слово выдержало испытание. Оно неотступно сопровождало смертников, шло в окопы, в закоулки гетто, в бараки концлагерей, в лесные логова партизанов. Его высокое призвание открылось ленинградским поэтам, принесшим из мрака блокады выстраданную правду, что поэзия должна быть «трагедийна и исповедна». Трудно найти более веское подтверждение этой правды, чем стихи еврейского поэта-партизана с их непревзойденным трагизмом и предельной обнаженностью чувств.

А. Суцкевер до войны принадлежал к литературной группе, называвшей себя «Молодая Вильна». Эпитет «молодая» свидетельствовал скорее о возрасте писателей и характере их исканий, чем о разрыве с исторической преемственностью. В старинном городе, где каждая из трех национальностей ревниво и упрямо выращивала свою культуру, от прошлого некуда было уйти. Оно дышало во всем — в извилистых переулках, шумливыми ручьями вливавшихся в синагогальный двор; в темном, горестном лике Богоматери на древней арке над исхоженными и зацелованными плитами; в отзвуках шагов виленского Гаона и молодого Мицкевича; в шуме литовских дубрав, зеленым кольцом олоясавших нищий, гордый, упрямый город. Молодежь, выросшая в тени молелен и костелов, влила религиозный пыл дедов в новые меха: молодая Вильна была мятежной, ищущей, склонной к духовному максимализму. Потомки благочестивого Гаона и правнуки поэта-бунтаря создали своеобразный климат, непов-

торимый стиль культурной жизни. Эта жизнь ушла в подполье под ударами варваров, которые одним несли рабство и одичание, другим — неотвратимую гибель.

Гетто, обнесенное колючей проволокой, было по замыслу его творцов преддверием к братской могиле. Голод, болезни, скученность должны были стать пособниками палачей. В такой обстановке простая жизненная цепкость становилась вызовом. Обитатели гетто хотели, однако, не просто существовать на земле, но жить достойно и разумно: в глубине смрадных переулков возникли школы, библиотеки, театры, амбулатории, литературные кружки, журналы. Каждое проявление духовной жизни требовало безмерного самоотвержения, бескорыстной жертвенности. В полуразвалившихся домишках вокруг чадающей печурки учительницы читали детям Переца и Шолом-Алейхема, зная, что каждый час может стать последним. Бессильные побороть смерть, они преодолевали страх смерти. Об одной из таких безвестных героинь рассказывает Сушкевер медленными строками баллады*):

В разрушенной хижине, темной и нищей,
Перо стало свечкой и азбука — пищей.

Поэт сам принадлежит к числу тех, кто упорно отстаивает в гетто высокий лад жизни. В жуткие весенние дни 1942 г., когда за виленскими заставами уже грохотали зловещие поезда, увозя обреченных на смерть в близкие Понары или в астонский крематорий, он пишет символическую поэму, заканчивающуюся мажорной нотой надежды, поэму, премированную Союзом писателей виленского гетто.

По мере того, как вытекала живая кровь из артерий еврейского квартала, поэту становилось все труднее работать. Жизнь уходила в подполье, откуда тайные пути вели в глухие лесные чащи, к шалашиам партизанов, к полыхающим в ночи кострам, к звериным тропам и логовам, где гнездилась притаившаяся месть. Ибо настала пора, когда

Кровь убиенных стала стоном,
И слово — медною трубой,
И каждый погреб — бастионом,
И человек — самим собой.

*) Перевод стихотворных цитат сделан С. Дубновой. Редакция.

В одном из лучших своих стихотворений Суцкевер рассказывает, как мечтатели, ставшие бойцами, под покровом ночи переливают в старинной виленской типографии свинцовый шрифт в пули. Символика этих жестов не придумана, а взята из действительности, этой богатой сокровищницы символов. Люди, вкладывающие душу в слово, следят теперь со странным волнением, как

Сверкает свинец, переплавленный в пули,
И мысли блистают — строка за строкой.

Они верят, что эти пули найдут путь к сердцу врага, что

Народная сила, сокрытая в слове,
Прокатится взрывом и мир потрясет.

Мученичеству убиенных отведено немало места в современной еврейской поэзии, но Суцкевер — первый подлинный бард гетто, борющегося с оружием в руках. Свою личную трагедию (гибель матери, новорожденного сына, едва разрешившейся от бремени жены) он тоже переплавил в боевой свинец: это далось ему, вероятно, труднее, чем переплавка шрифта. Но это помогло остаться на поверхности жизни. Его новые боевые товарищи — белоруссы, евреи, поляки, литовцы тоже пришли в партизанские отряды через лепелища и кровь. Простыми и твердыми словами говорит поэт о том братстве бойцов, над которым бессильна смерть:

Убитый товарищ,
Ты рухнул во прах,
Свой ломоть убогий
Сжимая в руках.
Прости мне мой голод
И буйный мой пыл:
В хлеб, смоченный кровью,
Я зубы вонзил.

.....

Умолкший товарищ,
Во мне ты, внутри,

Сквозь каждую жилу
Взывай и гори.
А если я сгину
На той же тропе,
Другой пусть подымет
Мой горький напев.



О формальной стороне поэзии Суцкевера хочется сказать кратко. Он еще не вполне нашел себя, еще порой элементарна его символика, случайны эпитеты, и не всегда дается ему та суровая скупость слова, которой требует сгущенность событий. Но зато как очевидна его человеческая зрелость! И никуда нельзя уйти от простой и честной мысли, что только в смертельной схватке с варварством человек «становится самим собой». Эта мысль вырастает в эпиграф к книге, дымящейся кровью, как поле битвы. Суцкевер каждой своей строкой напоминает о том, что одни наши современники бессознательно, а другие явно — отодвигают в прошлое: о непримиримости.

МАРК СЛОНИМ

РУССКИЙ РАЗГОВОР

После обеда гости перешли в кабинет хозяина и продолжали прерванный разговор.

— Вся беда, — сказал толстый господин с острыми глазами, удобно устраиваясь в широком кресле и закуривая сигару, — вся беда в том, что война себя не оплачивает, как выражаются деловые люди. И последняя война, как и все предыдущие, не разрешила никаких проблем. Это только наивные милитаристы верят в разум пушек. В войне нет мудрости, одна нелепость. Я уж не говорю о том, что самая основа ее безумна — организованное убийство и разрушение. Но война бессмысленна главным образом потому, что она не ведет ни к чему положительному. Ее последствия неизменно отрицательны. В результате войны приходят голод, мор и трес. Вот за последние пять лет миллионы убивали, жгли, разрушали. А когда пришел конец этому неистовству, мы все видим, что толку от этого никакого, и надо за все приниматься сызнова, с начала. Все хуже, чем было: нужно хоронить мертвецов, чинить мосты, строить города. Все исковеркано и испорчено. Довоенный уровень жизни кажется недостижимым идеалом. И все усилия направлены к тому, чтобы вернуться к этому довоенному положению. Это значит — назад, и танцуй потом от печки. Для чего же, спрашивается, устраивали все это представление с ракетами и фейерверком? Для чего надо было истребить и искалечить десятки миллионов молодых людей, пустить по миру другие десятки миллионов, измотать души целых народов, провести их через пытку страха, ненависти и страдания? Для того, чтобы очутиться у разбитого корыта и разговаривать о будущей войне? И вы еще хотите, чтобы после взрыва повального сумасшествия, прикрытого самыми разнообразными лозунгами, повсюду воцарился мир и порядок!

— Сумасшествие или нет, а только все хотят мира, — перебил старик явно интеллигентского типа. Он слушал толстого господина, ходя из угла в угол и нервно теребя клинообразную бородку. Теперь он остановился перед ним и воз-

бужденно заговорил, отмахиваясь от сигарного дыма: — И мира нет из за Советской России. Разлад повсюду вносит Москва. Если бы в Кремле сидело не политбюро, а демократическое правительство, то союзники давно сговорились бы и послевоенный кризис был бы тогда разрешен. Если мы до сих пор не победили физических лишений, болезней и морального опустошения, которые вы называете голодом, мором и трусом, то вина за это падает исключительно на тех, кто саботирует дело мира. Вы не можете отрицать, что если война не привела к положительным результатам, несмотря на поражение Гитлера и Японии, то причиной этому — невозможность сговора с советскими диктаторами. Какой общий язык может быть у Лондона и Вашингтона с Москвой, если большевики опьянены своей военной силой и стремятся к мировому господству? Пять лет воевали, чтобы избежать угрозы гитлеровского владычества, а теперь приходится задуматься, не променяли ли кукушку на ястреба. Чем сталинская диктатура лучше гитлеровской? И от этого все несчастья. Большевики восстановили против себя все нации, потому что они упорно стремятся к захвату Европы. Они забрали часть Польши, Литву, Латвию, Эстонию, Бессарабию...

— Позвольте, — вскричал благообразный седовласый профессор с румяных лицом и детскими глазами под старомодным пенсне, — да ведь все эти области были составными частями Российской Империи, и большевики совершают великую работу восстановления государства, исправляют несправедливость, причиненную России, в виду ее слабости, после первой мировой войны...

— Так, — язвительно произнес старик с бородкой, — а Буковина или Подкарпатская Русь — тоже исправление несправедливости? А насаждение марионеточных правительств в Польше, Болгарии, Румынии, Венгрии и Югославии это, по вашему, не экспансия? А поддержка коммунистических партий в других странах — это ничего не значит? А отказ поднять железный занавес над восточной и центральной Европой, в которой до сих пор находятся сотни тысяч советских оккупационных войск — это случайность, что ли? Нет, профессор, вы меня простите, но вы в своем патристическом азарте отворачиваетесь от действительности. Факты убеждают нас в одном: после войны началось наступление сталинизма и подготовка мировой революции. Большевики хотят отхватить себе побольше территорий в Европе и Азии, насадить, где можно,

своих ставленников и распространить свой режим от Франции до Кореи. Этого, конечно, не могут допустить демократические государства, и вся борьба идет между коммунизмом и демократией.

— Какая там демократия, — снова вскричал профессор, — попросту бояться сильной России. И поэтому применяют две мерки. Посмотрите, каково отношение общественного мнения Англии и Америки к Советскому Союзу? Чуть что неладно — Россия виновата: большевистские интриги. Да что далеко ходить за примерами: возьмите иранский вопрос. Ведь это комедия какая то. Россия хочет сговориться с Ираном — и Совет Безопасности в ужасе. Россия выводит войска из Ирана, тегеранское правительство уверяет, что все благополучно — нет, необходимо оставить **«проблему»** в порядке дня, ах, угроза миру. При этом англичане благополучно владеют почти всей иранской нефтью и фактически управляют всей экономической жизнью страны, и сидят **к тому же еще** под боком, в Ираке — и это демократов из новой Лиги Наций не смущает, сна их не тревожит. Вот уж, действительно, психология: Quod licet Jovi non licet bovi. Россия заключает выгодные торговые договоры со своими соседями в Восточной и Центральной Европе — это нарушает свободный товарообмен, это русская экспансия. Но если Соединенные Штаты заключают такие же договоры со странами Южной Америки — это «добрососедская политика». Если Москва давит на Польшу — это антидемократично, противно законам божеским и человеческим и так далее. А если английские аэропланы поливают бомбами греческих противников монархии, а британские солдаты способствуют победе королевской партии в Афинах — это меры для обеспечения порядка и спокойствия. Русские не дают союзникам вмешиваться в болгарские дела — и это называется чуть ли не предательством дела мира. Но если Мак-Артур — диктатор Японии и никто слова не может сказать об его управлении — это разумная твердость и военная необходимость. Россия — сосед Китая. Но всякое ее вмешательство в китайскую политику — угроза миру в Азии. Соединенные Штаты и Англия отделены от Китая десятками тысяч верст, но никто не удивляется, что американские генералы сидят в Чункинге, а англичане не убираются из Гонконга. Ах, да что говорить! В «Правде» появится статья, критикующая англо-саксов — и тотчас же повсюду шум: наглые большевики. А в Америке херстовские газеты

открыто спрашивают: когда же война с Советским Союзом? В «Дэйли Ньюз» в письмах в редакцию распропагандированные солдаты заявляют, что американская техника побьет советскую и «ветераны» вступят в Москву — и на это внимания не обращают. Нет, уж если говорить и спорить, то применять одинаковые мерил.

— Насчет мерил я согласен, — благодушно заметил толстый господин в кресле, вынимая изо рта сигару, — но должен вам сказать, профессор, что наши русачки, знаете, тоже хороши. Был я на заседаниях Объединенных Наций, в Совете Безопасности и в комиссиях. Даже несколько неловко мне стало. Психологии здешней не понимают, из за этого мелкие промахи, ошибки. И вообще, никак не могут усвоить, что значит «сотрудничество», или как мы говорим в Америке, «кооперация». Хотят, например, русские проверить лагеря в английской зоне в Германии. Англичане согласны, пожалуйста, но прибавляют: а как насчет ваших? Ах нет, наши нельзя! И так во всем. Никакой «обоюдности». На всех глядят с подозрением. Пусть даже и обоснованы эти подозрения, но сами понимаете, нельзя же сидеть в обществе и на всех глядеть, как на разбойников и при разговоре ощупывать револьвер в оттопыренном кармане. Не способствует это оживленной беседе. Как же тут сговариваться? Я думаю, что в русской внешней политике, помимо всего прочего, играет роль комплекс неполноценности. Русские боятся, как бы их не сочли за существа второго порядка и как бы Россию не обидели. Поэтому так чувствительны и заносчивы. И всюду видят стремление их обмануть, «подкопать», уколоть. Проще надо было бы. Ну, конечно, есть и другие грехи: привыкли у себя, на родине, к разделению — взрослые правители и несовершеннолетние управляемые. А вне России взрослых не мало, и какие колючие! Опять же таки, разница в режимах сказывается в подходе к вещам и событиям. В Европе и Америке игра мысли, а в Советском Союзе — общество единой религии. Хоть она сегодня так же похожа на коммунизм Ленина, как церковь Константина на собрания первых христиан в катакомбах, но все-таки разница между единоуправляемой и единоверующей Россией и остальным миром весьма велика. На разных языках говорят. Да, кстати, об языках. Советские дипломаты не очень то блистают знанием английского или французского.

— Ах вот как, — воскликнул профессор, — вам захо-

телось хороших манер и чтоб все было, как полагается в хорошем обществе. Но почему это мы обязаны учиться и французскому и английскому, а представители других наций не говорят по русски? Пора вспомнить, что Россия — шестая часть земной суши, и ее дипломаты, сударь, хочешь не хочешь — представители великой мировой державы. Вот вы все мелочами занимаетесь и забываете историческую перспективу. Дело не в психологии и не в коммунизме. Пятьдесят лет тому назад между царскою Россией и Англией и Америкой существовало точно такое же разделение и непонимание, как и сейчас. И тогда, как и теперь, западный мир смотрел на нас свысока, и в этом причина многих его ошибок и преступлений. «Поскребите русского и найдете татарина» — эта французская фраза была выдумана не в эпоху коммунистической власти. Да, мы — разные, исторически, экономически, — ну, и что с того? А столкновения происходят не потому, что разные, а потому что боятся русской силы. И коммунизм тут не при чем. Будь в России другое правительство, все равно опасались бы русского влияния и говорили бы о русском медведе.

— Вы подтверждаете мою мысль, — заметил толстый господин. — После войны ровно ничего не изменилось. Все в мире идет не по правильным фигурам разума, а по нелепым спиральям соперничества, себялюбия и жестокости.

— Нет, я с вами совершенно не согласен, — возразил профессор, поморщившись и даже сняв пенсне: — вы отрицаете, что война имела известную цель и достигла ее. По вашему выходит, что исход войны не имел значения. Но что было бы с человечеством, если бы победил Гитлер? Неужели можно отрицать, что поражение фашизма было событием огромного исторического размаха, определяющим все дальнейшее направление жизни целых поколений?

Толстый господин пожал плечами: — Я не оспариваю, что война, вернее ее исход, устранила известные препятствия, уничтожила возможность германской гегемонии на некоторое время, а, значит, привела и к новому распределению сил. Но это, так сказать, ее отрицательное действие. Я же говорю о положительном, творческом. Что эта война утвердила? Вы не найдете десятка публицистов в Англии, Америке, России и Франции, не упоминая уже о других странах, которые пришли бы к общему выводу по этому вопросу. Для одних победила демократия, для других советский строй, для

третьих — техника, для четвертых — дух народа, а некоторые серьезно думают, что Бог не допустил, и христианская цивилизация взяла верх над новым язычеством. Между прочим, последний аргумент ничуть не хуже всех остальных, если вы примете во внимание, что, например, в европейских странах католические партии успешно соперничают с коммунистами. Но я стою на своем: не вижу ничего вознесенного, упроченного войной, такого, что бы всем было ясно и очевидно. Люди не изменились и государства не изменились, все осталось попрежнему: та же борьба за власть, те же столкновения интересов, те же противоречия. Англия и Россия дерутся из-за выхода в Средиземное море, как сто или сто пятьдесят лет тому назад; в газетах пишут про Кушку и Афганистан, как при царе Александре; русские освобождают славянских братушек, как в 70-ые годы; во Франции никак не могут решить, должно ли правительство быть на три вершка левее или правее центра, — вопрос, определивший всю политическую жизнь Третьей Республики, — словом, нет ничего нового под луною.

Двое гостей, сидевших на диване, до сих пор не принимали участия в споре. Теперь один из них, молодой человек в роговых очках, вмешался в разговор. Он говорил тихим голосом, медленно подбирая слова.

— Вы сами сказали, — обратился он к толстому господину с сигарой, — что война привела к перераспределению сил. В этом и есть новое. Хорошо ли это или плохо — об этом можно спорить. Но нельзя спорить с фактами. Их надо признать, и их надо анализировать. В этой войне, в которой Гитлер добивался мировой гегемонии, Германия проиграла не только сражения, но и свое место в Европе. Англия была спасена от гибели и окончательной утраты своей империи. Советский Союз и Соединенные Штаты оказались главными победителями. Америка впервые начала решительно действовать на международной арене, как активная империалистическая сила. Россия, после долгого отсутствия, заняла свое место в Европе и мире и борется за признание ее влияния.

— Я еще прибавлю, — перебил профессор, — что за Россией идут славянские народы. Попытка германизма уничтожить или поработить их потерпела крах. Многовековая борьба между славянством и германизмом окончилась только теперь, и в этом основной смысл войны: выход на мировую арену новой молодой силы — славянства. Это предсказывали

все наши властители дум девятнадцатого века, это предчувствовали славянофилы и народники, Аксаков и Бакунин.

Молодой человек наклонил голову и продолжал:

— Конфликты и борьба между бывшими союзниками происходят не потому, что у советских дипломатов плохой характер или дурные манеры или отсутствие понимания, и не потому, что англичане боятся русского влияния, и не оттого, что человеческая природа не меняется. И совсем не важно, что одним нравится Сталин, а другим Черчилль или что сицилийские крестьяне поддерживают католицизм. Речь идет не о личных добродетелях и мудрости масс. Весьма возможно, что события современности ни в ком не вызывают особого удовольствия и оставляют сомнения в способностях человеческого разума. Но все таки — события эти не простая игра теней или бессмысленная забава. Есть логика истории, определяющая и войны, и их последствия. Руководящий принцип этой логики — экономические отношения. Те, кто не считаются с ними, попадают в плен иллюзий.

— Ну, у меня то иллюзий немного осталось, — усмехнулся толстый господин: — какая ж это логика, когда все скачет по ухабам, вопреки здравому смыслу. Герценовскому доктору Крупову история недаром казалась клиническим случаем острого умопомешательства.

— Логика сводится к замене одного социально-экономического строя другим. Капитализм в Европе находится в стадии ликвидации. Фашизм был попыткой его оживления при помощи новой политической системы, которая, принеся в жертву некоторые преимущества и отказавшись от некоторых привилегий капиталистического класса, сохраняла, однако, его основную власть над массами. Фашизм, эта политическая надстройка неокapитализма, искал выхода в завоевании стран-колоний и в гегемонии над миром. Эта попытка окончилась неудачей. Но в борьбе против нее треснули капиталистические режимы большинства европейских стран. Их ликвидация происходит в разных формах, более или менее болезненно, наталкиваясь на ожесточенное сопротивление связанных с капитализмом сил. В Англии, например, мы наблюдаем медленное, конституционное самоограничение капитализма, с компромиссами и поклонами, с переменными победами традиции и обновления, с попытками капиталистов использовать в своих целях рабочую партию. В Югославии, скажем, это революционный процесс, обостренный нацио-

нальными распрями и последствиями войны, с трудом удерживающийся в легальных рамках. Католические партии Франции и Италии готовы идти на социально-экономические реформы, на спуск «на тормозах», чтобы не потерять влияния на массы, ибо они понимают, какова тенденция эпохи. Конечно, ликвидация эта сопровождается страшной борьбой. Капитализм не хочет сдаться без боя. Международные картели защищают свои позиции. Возьмите ту глухую борьбу, какая идет в Германии вокруг промышленных предприятий, фабрик и трестов. Или политические схватки по поводу портов, вроде Триеста, колоний и рынков. Тут перед нами наступление американского супер-капитализма, последней твердыни старой экономической системы. Этот супер-капитализм силен не только своей техникой, опытом, богатством и производственным размахом, но тем, что дал рабочим массам значительные материальные преимущества. Последнее обстоятельство не исключает, конечно, ни бешеной конкуренции внутри него самого, ни неизбежной депрессии, следующей за периодами искусственного промышленного расцвета. Чтобы удержаться, американский промышленный и финансовый капитал нуждается в рынках, сырье и влиянии во всем мире. Отсюда широкий империалистический охват его политики, встречающей союзников не только среди британских бывших мюнхенцев, но и среди международных представителей крупной буржуазии во всех странах. Россия ведет антикапиталистическое наступление, и поддерживает, совершенно естественно, во первых, коммунистов, а, во вторых, те элементы, которые стремятся к ликвидации капитализма. Поэтому столкновение Америки и России неизбежно, независимо от того, какую форму оно примет: вооруженного конфликта или длительной дипломатической, финансовой и политической борьбы. Их интересы прямо противоположны экономически, а значит и политически. Отсюда все те столкновения, о которых вы упоминали. Но только нечего прикрывать их всякими пышными фразами. Демократия, о которой столько разглагольствуют, не существует ни в Португалии, которую поддерживает Англия, ни в Испании, которую и Англия и Америка боятся задеть, ни в том самом Иране, о судьбе которого так беспокоятся Куба и Пуэрто-Рико, ни в Аргентине, которая благополучно пребывает в Объединенных Нациях, ни в десятках других, больших и малых стран, пользующихся покровительством просвещенных и демократических держав. А все

эти знаменитые зоны влияния и блоки, о которых жужжат газеты, сводятся опять таки к вопросу о социально экономическом режиме. Если Вашингтон беспокоится по поводу выборов в Румынии или Болгарии, то, поверьте, тут дело не в чистоте демократического принципа, а в торговых договорах. Все вытекает из продолжающейся во всем мире борьбы между капиталистическими и антикапиталистическими силами, и совершенно естественно, что в центре этой борьбы стоят коммунисты, опирающиеся и реально и морально на единственное в мире коммунистическое государство.

— Я надеюсь, что вы не совершите ошибки большевиков первого призыва, — с улыбкой заметил толстый господин, — и не сделаете ставки на коммунистическую революцию в Европе и колониальных странах. Как вам известно, коммунистической революции в Европе не произошло, да и вряд ли можно ее ожидать в ближайшем будущем. Повсюду, где были выборы, коммунисты не получили большинства: пример — Голландия, Бельгия, Франция, Италия, Австрия. Везде побеждали католики и социалисты, т. е. умеренный блок. Правительства с сильным коммунистическим уклоном имеются лишь в странах восточной и центральной Европы, — Польше, Югославии, Болгарии, Чехословакии, — где непосредственно чувствуется русское влияние. Я знаю, что для управления страной совсем не нужно обладать большинством. В Советском Союзе коммунисты являются руководящим меньшинством и говорят, что население их поддерживает, не утверждая, однако, что большинство этого населения — коммунисты. Так что я прекрасно учитываю возможность такого положения, при котором во главе государства становится партия, не располагающая абсолютным большинством, но сравнительно со своими соперниками имеющая относительные преимущества — и по количеству собранных голосов среди избирателей, и качественно — благодаря своей сплоченности, дисциплине и решительности. Но я не думаю, чтоб коммунисты добились власти в Европе. Я лично вижу большую силу в так называемых «партиях порядка». В ряде стран возможен поворот направо. Я не знаю, действительно ли происходит ликвидация капитализма. Но допустим, что вы правы, и старый режим разлагается. Это не означает, что его уничтожение примет форму коммунистической революции или даже коммунистической власти. Надо серьезно считаться с возможностью, если хотите, не капиталистической и не ком-

мунистической Европы, в которой первую скрипку будут играть социалисты и нео-католики.

— Такой переходный режим возможен, — ответил молодой человек, — но не думаю, чтобы он мог быть долговечен, ибо католики и социалисты побоятся уничтожить все остатки фашизма, и им придется выдерживать с ними жестокий бой, покамест кто-нибудь не примет решительных мер. Но не в этом дело. Во первых, в ряде стран коммунисты обладают поддержкой значительной части населения и представляют миллионные массы, как, например, во Франции, Италии, Чехословакии. Без них управлять невозможно. Их больше нельзя игнорировать, преследовать или подвергать ostracismu. С ними надо считаться, и в политической жизни Европы — независимо от поддержки Москвы — они будут важным фактором.

— Отнимите у них эту поддержку, и они рассыпятся прахом, — вскричал интеллигент с бородкой. — Хотя у вас коммунистические симпатии, вы подтверждаете мои выводы: вся опасность в Москве и международном коммунизме. Если их победить, все наладится.

— Вы забываете, — возразил молодой человек в роговых очках, — что успех их объясняется подлинными нуждами народных масс. Французские рабочие голосуют за коммунистов, потому что они недовольны существующим строем и хотят радикальных перемен. Это недовольство и жажда нового вполне естественны в момент перехода от одного экономического уклада к другому. Наивно и опасно объяснять происходящий исторический процесс большой сложности и значения одними московскими интригами.

— Мы уже видели недовольство и антикапиталистическую волну после первой мировой войны, — заметил господин с сигарой, — все эти настроения неустойчивы и могут измениться, когда в Европе будет не так голодно и холодно, а американцы и англичане подвезут товары.

— И кроме того, — поддержал интеллигент с бородкой, — в ряде стран никакого влияния коммунизма нет. Возьмите Бельгию, Голландию, скандинавские страны, Швейцарию, наконец, Англию, где пресловутая идея «единого фронта» провалилась, главным образом, из-за отсутствия коммунистической партии. Так что не представляйте себе, что мир разде-

лен на два лагеря, в одном коммунисты, в другом капиталисты, и посредине только одни социал-предатели.

— Я учитываю всю пестроту социального спектра, — холодно сказал молодой человек, — но я не могу не признать, что за всеми политическими и идеологическими надстройками обнаруживается весьма определенная картина. Реакционные силы борются за власть и деньги. Это и есть смысл происходящего. И тот, кто стоит за новое, должен называть черное черным, а красное красным. Зачем хитроумничать, когда все совершенно ясно. В одном месте наследники фашизма называют себя мелкими земельными собственниками, как в Венгрии, в другом они перекрашиваются в христианских демократов, в третьих они поддерживают умеренных социалистов. Ватикан берет в свои руки дело социальных реформ, чтобы сохранить свое господство над душами и телами. Реакционеры всех мастей, бывшие американские изоляционисты или английские империалисты прикрываются демократическими лозунгами и находят поддержку у глупцов, карьеристов или политических Иудушек...

— Хотя я и не разделяю ваших взглядов, — сказал господин с сигарой, — но охотно присоединюсь к вашей критике всех этих защитников демократии. Мне смешно становится, когда я читаю в англо-саксонской прессе горькие жалобы на отсутствие демократических гарантий в Польше или на Балканах. Но ведь во всех этих странах были диктатуры и фашизм. В Венгрии и Румынии — кастовые феодальные режимы, смягчаемые коррупцией и легкомыслием. И на другой день после войны, изволите ли видеть, ожидается демократическое чудо: единым духом все эти страны превратятся в новую Англию и Америку. Какая чепуха! Как будто можно все изменить за несколько месяцев! И ведь серьезные государственные деятели это понимают. Вот не требовали, как будто, от Хайле Селассие превращения Абиссинии в строго парламентарное государство. А тут — чтоб все было в полном порядке, выборы, пресса, гарантии свободы, легальность и благородство... Да если бы завтра устроить свободные выборы в Германии, без оккупационных войск, то ведь большинство выскажется за наци. И в Венгрии, и в Румынии результаты были бы весьма неприятные, да и насчет Польши я не совсем уверен. Чего же хотят союзники — выборов или уничтожения фашизма?

— Простите, — сказал профессор, — вы несколько

уклонились от темы. Вот тут молодой человек все представил, как гигантскую борьбу между капитализмом и его противником — социализмом, в виде ли коммунистическом или ином. Но я с таким укорочением истории не согласен. Помимо экономики существуют и другие факторы. И не только натура человеческая, психология и прочее, о чем я еще скажу, но весьма ощутительные величины — государства, организмы левиафаны, которые развивались в определенных условиях и движутся по известным путям в силу своего объема, географического положения, массы населения и прочее и прочее. И тут вступают в игру исторические традиции. Выход к морю для России задача не только экономическая, но и государственная. И конкуренция происходит в государственных и национальных, а не только экономических масштабах. Не потому Россия сейчас становится центром Европы, что в ней отменен капитализм, а оттого, что исторически определено ей первое место — и благодаря размерам, и благодаря ресурсам и военной мощи, и благодаря характеру русского народа, руководящего племени в этой евразийской Лиге Наций, именуемой СССР. И скажу вам, мне не безразлично, куда идет историческое развитие. Вот вы мне обещаете смену одного экономического уклада другим, и утверждаете, что все меняется, борется, а я вас спрашиваю: эта перемена к лучшему или худшему? От нее человек станет умнее, счастливее, возвышеннее — или останется дураком, рабом и зверем, как был, только в другом обличьи? Вот что меня интересует.

— Это вы, дорогой мой, в идеологию пустились, — сказал толстый господин, — и требуете, чтоб вам дали формулу прогресса. Вот я думаю, что никакого прогресса нет, есть только смены декораций и актеров, а в общем все то же самое, и я не знаю, почему, как думают социалисты, человек будет свободнее при коммунистическом режиме, чем теперь. Останется, вероятно, тем же, чем был — стадным животным, способным и на героизм, и на подлость, в зависимости от того, на каких инстинктах играют его властители. Но вообще все зависит от того, что вы считаете ценным. Если ваши ценности поднимаются на исторической бирже, значит, прогресс; падают — значит, ход назад. Для гитлеровцев сейчас момент реакции, хотя не все еще потеряно...

Крепкий, ладно сбитый господин в коричневом костюме,

сидевший на диване возле молодого человека в роговых очках, откашлялся и произнес густым, низким голосом:

— Вы, вот, все говорите об экономике, о политике... также о разных ценностях... и о их влиянии на события... и народы. Я слушаю, но замечаю, что вы игнорируете самый важный фактор. Я, как вы знаете, инженер. И вот я удивляюсь, как вы в своих спорах не отводите места технике. Революция сейчас в мире не коммунистическая, а электрическая, атомическая и химическая. Лет через пятьдесят жизнь будет неузнаваема. У нас будут такие источники энергии, такие возможности производства, что все экономические понятия будут перевернуты, прежние источники сырья потеряют значение, и всякие там выходы к морю станут пустыми разговорами. Вы еще рассуждаете в терминах девятнадцатого века, а для двадцатого не существует границ, проливов и всякой иной политической ерунды. Вот если бы вы упомянули об авиационных базах, о путях через полюс, о междупланетном сообщении — тогда другое дело, об этом стоит поспорить. И владеть миром будут не коммунисты или фашисты, а ученые и техники. Мы на пороге этого нового века, а вы мне говорите о Ватикане или об изоляционистах или о количестве голосов, поданных за коммунистов. Технологическое развитие человечества приняло сейчас такие размеры, что оно станет главным фактором истории. Бедность и отсталость будут уничтожены не в результате политической борьбы или планированной экономики, а благодаря прогрессу науки, которая удесятрит производство вещей и плодов земли. Разрешение большинства трудных вопросов современности придет из лабораторий и кабинетов физиков, химиков и математиков.

— Что ж вы ничего не говорите? — обратился интеллигент с бородкой к хозяину дома. Но тот смущенно улыбнулся и, смотря как то в бок, пробормотал неуверенным голосом: — Я боюсь... что вы все правы...

Гости удивленно посмотрели на него, переглянулись и молча двинулись в переднюю за шляпами и пальто.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИТОГИ

Скверная штука — композиторский жребий. Юношескому воображению композитор представлялся вдохновенным маниаком с обильной копной волос, в наглухо застегнутом безупречно сшитом сюртуке, всечасно пребывающим за роялем в окружении ослепительных графинь и маркиз. «Кто это?» спрашивали задыхаясь курсистки и консерваторки, увидев в концертном разъезде эффектного господина в черной шубе. «Это N. N., помилуйте, композитор», разъясняли знатоки.

Исполнители собственной музыки представлялись звуковластителями; публика робела перед чудом творчества и неожиданно-доступной расшифровкой его в концертном зале. О том, что многие так называемые любимцы публики жили и умирали в относительной, а зачастую и абсолютной нищете, узнавалось из посмертных биографий, современники видели лишь сверкающую манишку и тренированные пальцы модного укротителя струн или клавиш. Напрасно жаловался Жорж Бизе: «Истинно говорю вам, композитор — это пария, жертва современного общества». Пария ли, жертва ли, но без черных нот на белой бумаге, дисциплинированных творческой волей, не было бы ни виртуозов-миллионеров, ни дирижеров-самодуров, ни антрепренеров-разбойников. Перечисленные лиллипуты никогда особенно не заботились о прокормлении Гулливера-композитора. Об этой вопиющей неблагодарности редко догадывались наши отцы и деды, об этом бессовестно забыли мы. Причина несложная: композитор стал **невидимкой**.

Композиторы-отшельники водились и в прошлом, но большинство музыкальных авторов было эстрадными заведующими. Эстрадой они зарабатывали свой хлеб и завоевывали милости августейших меценатов. Более того, солисты и дирижеры нередко обязывались исполнять свою музыку,

Следующую статью В. Дукельский намерен посвятить характеристике современной американской музыки.

как дополнительный аттракцион. В конце прошлого века обожаемый идол-исполнитель, творческим даром не обремененный, стал вытеснять — и без того тянувшего на чердак — антиэстрадного композитора. Постепенно и вытеснил; за исключением последних могикиан — Рахманинова, Скрябина, Бузони и, пожалуй, Прокофьева, пианиста бесподобного, но не часто выступающего, композиторы-виртуозы теперь явление редчайшее. С другой стороны, невзирая на всю аксиоматическую невозможность заработка путем писания серьезной музыки, композиторов развелось видимо-невидимо. Никогда в прошлом не было такой страсти к насилчанию нотной бумаги. Один из способнейших американских композиторов Теодор Чанлер пишет мне: «Быть может я пессимист, но я не вижу, кому на здешнем музыкальном горизонте можно было бы предсказать импозантное будущее. Множество людей пишет музыку. Нам часто говорят, что в 18-ом веке, например, сочинять было гораздо легче; тогда музыкальный язык и синтаксис были твердо формулированы, теперь же законы заброшены, все решительно дозволено. Если это верно, то почему же было сравнительно так мало композиторов? И если трудно писать музыку в наши дни, отчего столь многие это пробуют?» Его вопросу можно противопоставить изумление Генриха Гейне перед плодовитостью Доницетти, «не уступавшей кроличьей»; но тогда, ведь, был только один кролик — Доницетти, теперь же кроликов народилась уйма, и плодови-ты они все до единого.

Попробуем разобраться в причинах внезапного композиторского нашествия, о котором можно только пожалеть; 98% исполняющейся современной музыки ставит публику в неловкое положение, компрометирует исполнителя и, наконец, разочаровывает самого композитора. На следующее утро он читает критические общие места, тщетно хлопочет о втором исполнении, которого не получает, и, махнув рукой, принимается за новый, столь же мертворожденный опус. Посетовав о досадной потере времени, взглянем в этих незванных мэтров. Кто они, и кто их толкает на непрошенное и никчемное творчество?

Надо сознаться — это люди не без музыкальных способностей, но лишенные достаточного творческого дарования; творческий импульс далеко не всегда является залогом дарования, а очень часто вырождается в бесполезную графоманию. Лет тридцать назад, скажем, подающего надежды ре-

бенка приводили к «заслуженному» профессору и с трепетом ждали его приговора. Ребенка брали в композиторскую учёбу только при наличии у него абсолютного слуха, ярко выраженного импровизаторского таланта и конкретных творческих опытов. Кандидата, лишённого абсолютного слуха, подозревали в музыкальной посредственности. Много слез было пролито крупнейшими музыкантами прошлого из-за горьких трудностей и обид, сопровождавших их воспитание; возможность его доставалась отнюдь не легко. Теперь же, по пророческой фразе Шумана: «...бывают бездарные люди, которых тянет к музыке и которые за нее хватаются по внешним обстоятельствам; они многому научились — это **музыкальные механики**. Определение меткое и особенно подходящее к современности. Суровость, с которой экзаменовались посягатели на музыкальную сокровищницу, оберегла наших предков от потопа плохой музыки. Сегодня учиться композиции может всякий, кто готов платить за уроки и кому нестрашно, по словам Байрона, — «отчалить с подобными себе на Корабле Глупцов».

Заговорив о музыкальных механиках, надо подчеркнуть весьма значительную деятельность недавно скончавшегося И. М. Шиллингера, который революционизировал самый подход не только к науке о композиции, но и к композиторскому отбору. Шиллингер, человек необъятного ума и эрудиции, несравненный педагог, заявлял во всеуслышание, что такой птицы, как талантливый композитор — не существует. «Дайте мне любого сметливого и не совсем безухого человека, и через пять лет я из него сделаю композитора, равного Бетховену», говорил И. М. без тени улыбки. Я ходил к нему в течение двух лет в целях выправления своей оркестровки (до Бетховена не дотянул), и могу точно сказать, что путем акустических открытий, математических аналогий, а главное, наглядных демонстраций, Шиллингер сделал для меня то, что все профессора вместе взятые не сделали бы и в десять лет. Отношения у нас завелись вежливо-скептические. Шиллингер косился на мой энтузиазм и романтику, я не очень то верил в его «фабрику гениев». Гении состояли из достаточно великовозрастных «радио-оркестраторов», членов новейшей и финансово-заманчивой профессии. Они получали большое жалование за переделку популярных мелодий для различных радио-комбинаций. Инструментальная сноровка, однако, не является паспортом на творческие способности; Шиллингер

«выдавливал» из своих учеников эти способности путем интенсивной муштровки*).

Однажды после урока я заспорил с И. М. на тему о композиторском таланте. «Вы снова за свое», проронил Шиллингер. «Я с легкостью докажу вам свою правоту. Вот, садитесь с партитурой, а я поставлю граммофонную пластинку квартета одного из моих учеников. Три года тому назад он и музыкальной орфографии не знал». Послушали квартет. Смотря партитуру, я дивился: придумано затейливо, есть логика, остроумие, — но музыки ни на грош. Это была сказка Андерсена навыорот — богатейшая одежда, драгоценные камни, золотая корона, — а короля то и нет.

Способностей не наблюдается и в произведениях нынешнего композитора средней руки. Но если критический авторитет — химера, то кому решать талантлив композитор или нет? Если кто-либо и решит, то какой композитор примет это повесит голову и перестанет сочинять? Хвалимый критикой в ничьих приговорах не нуждается; его играют, печатают, он вышел в люди. Критикой поносимый твердо рассчитывает на посмертное признание; это гений будущего, он-де идет впереди своего времени. Непонятый гений имеет у самого себя успех, недоступный признанным. Недаром сказал мудрый Муфтий о стихах турецкого поэта Мизри: «Смысл их не может быть понят никем, кроме Господа Бога и поэта Мизри». Мне же кажется, что если, слушая новую музыку, вы спрашиваете себя: «Почему так, а не этак?» — то дело плохо. Всякая достойная вещь, внутренне убедительная, а не просто толково сработанная, должна обладать **признаком неизбежности**. Иначе, по изумительному пророчеству Дидро в «Племяннике Рамо», мы навек обречены на «хон, хон, пин, пин, тю, тю, тюрлюютю».

Значение Шиллингера как плодотворного педагога все же неоспоримо. И не только из-за смелых его новшеств, но уже потому, что он обучил им Гершвина и дал ему фундамент, на котором построена «Порги и Бэсс». До «Порги» Гершвин, наделенный талантом, никак не характерным для наших дней своей ослепительной непосредственностью, пробирался по тропе «серьезной» музыки ощупью слепца. С 1930 по 1935

*) Фирма Карла Фишера недавно выпустила всю систему Шиллингера в двух опрочных томах.

год я видел Джорджа почти каждый день и не переставал удивляться инстинктивной прозорливости, с которой он решал щекотливые проблемы, например, контрапунктические. «Да ведь это — канон, и преловкий», сказал я ему однажды, просмотрев свежую страницу. «Как канон? А я и не знал», заулыбался Джордж, довольный негладным подвигом. «Подумай! Гершвин — а пишет как Бах». Такие полные самовосхищения фразы были особенностью его природы, и не только не шокировали, но почти умиляли. У другого человека они звучали бы невыносимо.

Шиллингер дал Гершвину возможность разбираться в собственных задачах, сознательно их решать и, главное, «строить» большие формы, приобщив его к тайне музыкальной текучести, непрерывности. После белых ниток, которыми были по невежеству подшиты яркие и широкие темы (Гершвин был поистине мелодист божьей милостью) фортепианного концерта и «Американца в Париже», — «Порги и Бэсс» импонирует радостью технической уверенности. Нелепой и страшной обернулась судьба Джорджа Гершвина, который, овладев наконец музыкальной премудростью, умер 38 лет отроду, на пороге композиторской зрелости; умер, оставив толстую кипу негармонизованных мелодических отрывков — зародышей оперетт, опер, а быть может и сонат и симфоний. Умер так же непозволительно рано, как умирали величайшие мелодисты прошлого — Моцарт, Шуберт, Шопен, Вебер и Беллини. На мою долю выпала печальная честь написать куплеты к трем рефренам Гершвина, две новых мелодии и два балета (в постановке Баланчина) для начатой им в Голливуде картины «Goldwyn Follies», 1937 г. Никогда не забуду телефонного звонка Самуэля Гольдвина в 3 часа утра; разбуженный, я узнал о просьбе больного Джорджа приехать и закончить его работу.

Американская музыка молодецки шагнула вперед с 1924 года, когда я после двухлетнего пребывания здесь вернулся в Европу. Немало народилось даровитых людей за этот срок, выработалась даже своего рода «американская школа», но Гершвин остался самым ярким и несмотря на русско-еврейское происхождение (фамилия его была Гершкович) — самым национально характерным из композиторов Нового Света. Многие превзошли его мастерством, разносторонностью, деловой ловкостью — и что ж? Если американский язык и су-

ществует в музыке, то вы его услышите в «spirituals», в нью-орлеанском джазе и в сочинениях Гершвина. Современная молодежь говорит по-американски бегло, но с неизжитым еще иностранным акцентом.

Двадцать два года тому назад в Америке была любопытная и шумливая музыкальная публика. Куда исчезли эти всклоченные юноши и шальноглазые «флапперы», пестрой толпой осаждавшие такие цитадели «музыки будущего» как враждовавшие тогда «League of Composers» и «International Composers Guild»? Молодежь, по внешности мало отличавшаяся от буйных героев Скотта Фитцджеральда, награждала Стравинского и даже Шенберга ревом и стихийными аплодисментами, а местных экспериментаторов — пронзительным свистом и улюлюканьем, ни дать ни взять дягилевские премьеры в Париже. В одном из концертов Стоковский вынужден был повторить «Лисичку» Стравинского, вещь довольно длинную и нелегкую: так бушевали слушатели. Современная нью-йоркская публика сидит поджав губы и старается не реагировать.

Что сказать о местных экспериментаторах той эпохи? В Гильде распоряжался Эдгар Варэз, обамериканившийся француз, человек большой энергии, страстный полемист и поставщик «скрежещущих звукомашин», о которых я в свое время писал. Его группа — Рэгглс, Сальзедо, Риггер и другие, — вызывала протесты жестокой для ушей, убежденно какофонической музыкой, но дальше всех шел сам Варэз. Не поддающиеся анализу заумные пьесы композитора, сочетавшие в названиях своих романтику с математикой и физикой — «Октандр», «Интегралы», «Америки», «Ионизация» и пр. — приобщали нас к пению телеграфных проводов, лязгу рельс, заунывному вою ржавых пароходов в порту, визгу трамваев, — всей реалистической музыке «цивилизации». В его лучших вещах было нечто от Уолта Уитмана или Верхарна, экстаз городского шума и чада. Но музыка ли это или добросовестная музыкальная фотография?

У Варэза и его соратников имелся усердный и громогласный панегирист — Поль Розенфельд, который в музыкальном синтезе американской небоскрежной повседневности видел будущее местной музыки. Пророком он оказался из рук вон плохим, т. к. американские композиторы пошли по другой дороге, а воспетые Розенфельдом «гиганты» забыты при жизни. Некоторые из них, например Орнштейн, стали заяд-

лыми консерваторами, по обычаю остепенившихся англичан уолтонова толка. Для нас Розенфельд интересен: он был типичным мерилом респектабельно-прогрессивного отношения к Гершвину, на котором не мешает остановиться.

В начале статьи я коснулся плачевных финансов композитора-невидимки, к эстраде не пригодного. Такому человеку приходится жениться на богатой, что не легко, или давать уроки, что не весело и не очень прибыльно; он может избрать другую профессию, но это пахнет трусостью, или писать «коммерческую» музыку, что весьма выгодно и нескучно. Среди композиторов, удачно использовавших последний прием, можно назвать сэра Артура Сулливана; доходы с «Микадо» не препятствовали успеху его ораторий, довольно скучных, как все английские оратории, и получению титула. Англичане в этом отношении меньшие снобы, нежели их заокеанские союзники. Однако, Сулливан был «джентльменом», по рождению и воспитанию, вдобавок он корпел в Лейпцигской консерватории, где его досыта напичкали мендельсоновской благонадежностью. Гершвин воспитывался в прокуренных кафе и бродвейских издательских кабинетах; его консерваторией были турецкие бани, бильярдные и дешевые харчевни его отца — еврейского Микобера, который еще найдет своего Диккенса. До встречи с Шиллингером Джордж был самоучкой, эффектным импровизатором. В салоны Нью-Йорка он попал, покоровив хозяек и гостей своей почти физической страстью к фортепьянной клавиатуре. Гершвин стал салонным львом новой «складки»; он был молод, богат и оглушительно талантлив. «Невидимки» этого ему не простили до смерти.

В своей книге «An Hour with American Music» (1929 г.) Розенфельд, облачившись в тогу патриота-фанатика, старался раздуть значение таких, например, бледных эклектиков, как Гораций Паркер, который начал с обэльтгаренного Брамса и кончил помесью Вагнера с Д'Энди. Согласно Розенфельду, Паркер был американским Глинкой. Его опера «Мона» стоит на одном уровне с «Саломеей» и «Пеллеасом». «Hora Novissima», оратория, вместе с «Béatitudes» Франка остается в числе немногих потомков «Торжественной мессы» Бетховена... Эфемерный, отшумевший Лео Орнштейн (родившийся в России), попал в компанию Франка и... Вебера, но «не столь наивен», как эти двое. Из следующей фразы мы узнаем, что он «правнук Достоевского» (?), а на следующей странице читаем, что «рояль его равен оркестру Штрауса». Из меньшей братии

20-х годов Розенфельд воспевал Дэна Рудиара (французского выходца), и сравнивал его со Скрябиным, причем сообщал, что «звучность Рудиара тверже и сложнее скрябинской». Ниже мы читаем, что вторая часть симфонии Роджера Сэшонса «превосходит любую из инструментальных пьес Стравинского», хотя автор, «скрепя сердце, признает влияние Стравинского на перегнавшего его ученика. Влияния испытанные Сэшонсом, оправданы примерами таких его предшественников, как Бах (влияние Букстехуде), Бетховен (Моцарта и Гайдна), Вагнер (Вебера и Мейербергера); в заключение высказывается уверенность, что из Сэшонса выйдет «американский Брамс».

К чему эти нелепые цитаты? А вот к чему. Розенфельд был и остался влиятельным американским критиком и не мог обойти молчанием Гершвина. Мнение его дает представление о злобной травле, которой подвергался Джордж со стороны своих «сведущих» коллег. Характерно и то, что Рудиару посвящены 8 страниц, Орнштейну 10, Сэшонсу 11, а Гершвину... полторы. Вот что говорит Розенфельд о Гершвине: «Американские параллели этих экспериментов (с введением джаза в серьезную музыку. В. Д.) одинаково безличны. Гершвинская рапсодия, фортепианный концерт и «Американец в Париже» приобрели значительную популярность; сам Гершвин несомненно способный композитор нисшего, непретенциозного разряда, однако, я не уверен, что его воображение дает ему право **причислять себя к настоящим артистам...**» Эти слова не забудет ни один друг музыки Гершвина.

Виргилий Томсон, ныне музыкальный критик «Геральд Трибюн», разрешился статьей о Гершвине в 1935 году, т. е. за два года до его смерти. В начале статьи он признает, что «Голубая Рапсодия» — «самая успешная оркестровая вещь, написанная американцем». На следующей странице — похвалы начинают отзываться уксусом: «Я думал... что Гершвин культивировал нарочитое любительство, так как ему обещали, что если он будет пай-мальчиком, то может быть со временем станет президентом американской музыки». И дальше: «По музыке «Порги» видно, что у Гершвина нет и не было никакого умения продолжительной музыкальной работы». Бедный Джордж, не в прок ему пошла шиллингова учёба. Томсон эту учёбу игнорировал; дальше он пишет: «Его непонимание всех главных проблем формы... салонная музыка...» и, наконец — «Порги и Бэсс» музыка не слишком

хорошего общества». Это признание сноба. Другой Виргилий, римлянин и поэт, по свидетельству критиков, избегал некоторых слов, как «слишком плебейских».

Боязнь здоровой «доходчивости», по удачному советскому термину, — болезнь многих диктаторов вкуса и чемпионов чистоты. Таких пюристов великолепно охарактеризовал Томас Мур: «Они редко снисходят ко всему естественному или знакомому и хорошо себя чувствуют только на ходулях». Вилли Рейх, рассказывая о последних днях Албана Берга, приводит следующий инцидент: «Берга принесли в госпиталь и оперировали; переливание крови несколько ему помогло. Он выразил желание повидать своего донатора. Увидев молодого эlegantного венца, Берг повернулся ко мне и сказал с неопи-суемым выражением: «Надеюсь, это не сделает меня оперет-точным композитором».

Хоть кровь у меня собственная, а не чужая, опереточным композитором я сделался добровольно еще в 1926 году в Лондоне. Джаз покориł меня уже в Константинополе, где я покупал последние рефрены Керна, Берлина и Гершвина в турецком издании. В 1921 году я писал плохие фокстроты для своего удовольствия, а пять лет спустя — с целью заработка. Однако, начиная с Дягилева, который в бешенстве растоптал мой новехонький цилиндр при выходе из лондонского «Трока-деро», узнав о «проституции» своего питомца, и кончая ма-ститым композитором, любезно заметившим при неожиданной встрече: «Вы, кажется, нашли наконец достойное применение своему таланту?» люди классического лагеря убеждены, что я скомпрометирован на всю жизнь. За последние пять лет многие из них решили закрыть глаза и нырнуть в мутные волны, в которых я давно барахтаюсь. Это особенно удалось талантливейшему Леониду Бернштейну, с неизменным успе-хом практикующему все музыкальные жанры. Отмечаю с удовлетворением, что его за Бродвей «не трогают». Мои же шестнадцать оперетт и обзрений плюс параллельное писание серьезной музыки в моей обычной, отнюдь не джазовой ма-нере, приводят в недоумение журналистов и психиатров. Как никак, Сулливан оставался Сулливаном. за что бы ни брался, Гершвин Гершвином, Вэйль Вэйлем, Бернштейн Бернштейном, а во мне, мол, сият стивенсоновские Джэкиль и Хайд. За-кончу непредвиденный автобиографический монолог призна-нием, что я чувствую себя дома в обеих ролях, а муровские ходули меня не прельщают.

В. К. АГАФОНОВ

АКАДЕМИК В. И. ВЕРНАДСКИЙ

Печатаемая ниже статья написана специально для «Новоселья» выдающимся русским ученым В. К. Агафоновым. Он является общепризнанным авторитетом в области педологии и автором многочисленных трудов по минералогии, геологии и т. д. Особенно значительны его заслуги в деле внедрения русских методов почвоведения во Франции и ее колониях (Индокитай, Тунис). Сообщения об его изысканиях печатаются в бюллетенях французской Академии Наук, в «Агрономических анналах» и других научных изданиях.

Весть о кончине В. И. Вернадского докатилась до меня в Ниццу с опозданием. Удар этот был сокрушителен, едва переносим: наша шестидесятилетняя безоблачная дружба стала историей. Я сказал «безоблачная», надо прибавить еще «удивительная». Все было против нее — различие темпераментов, семейной обстановки, среды: я вырос в ретроградской чиновничьей семье, он — в либерально-дворянской. Отец его был профессором политической экономии, а дед, военный врач, участником швейцарского похода Суворова в 1799 году.

Спаяло нас с Владимиром, несмотря на все наши различия, стремление к «правде-истине». Мы оба принадлежали к единственному в истории ордену российской интеллигенции, с той разницей только, что когда борьба обострялась и сил не хватало, я работу по «завоеванию истины» оставлял на время в стороне и весь отдавался борьбе за правду. Владимир же сумел, ни на минуту не оставляя своих исканий истины, оставаться верным своей правде. О том свидетельствует его уход из состава профессоров Московского университета в 1911 году, протест против политики Кассо, доклад о полном изменении Университетского Устава, активная деятельность в земстве и т. д.

Владимир Иванович Вернадский родился в 1863 году, рано окончил классическую гимназию и поступил на естественный факультет Петербургского университета, по окончании которого был оставлен при университете в качестве ассистента по кафедре минералогии. Минералогию в это время читал Василий Васильевич Докучаев, который был тогда в самом расцвете своего творчества; он уже заложил основы своего учения о почве, как о своеобразном естественном, природном теле, и после защиты докторской диссертации (знаменитый «Русский чернозем») возводил гигантское здание созданной им науки — почвоведения (педология), изучая почвы России с помощью многих десятков молодых сотрудников, восторженно ему преданных. Вернадский не мог не поддаться влиянию этого замечательного ученого и профессора и принял активное участие в изучении почв Полтавской губернии. Докучаев в своих лекциях и экскурсиях обращал большое внимание на процессы выветривания горных пород, на разложение и образование минералов, и мне кажется несомненным, что будущий создатель химико-генетического изучения минералов в России заинтересовался этими вопросами именно под его влиянием: первой печатной работой Вернадского, весьма значительной по содержанию и по объему, было «Почвенно-геологическое описание» одного из уездов Полтавской губернии.

Но одно почвоведение не могло удовлетворить Вернадского, и он большую часть своего времени отдавал минералогии и кристаллографии, с их точными методами изыскания, их тесной связью с основными науками — физикой и химией, дававшими базу для широких научных обобщений, к которым он всегда стремился. Еще будучи ассистентом он начал несколько небольших работ по минералогии и уже читал лекции по кристаллоптике. Когда же он сдал магистерский экзамен, то как выдающийся молодой ученый был командирован за границу для подготовки к профессорскому званию. Сначала он отправился в Мюнхен к знаменитому минерологу и кристаллографу Гроту, чтобы в его великолепно оборудованной лаборатории овладеть всеми методами исследования этих наук. Работать над своей диссертацией он поехал в Париж, так как намеченная им тема требовала углубления в область химии силикатов: только в Париже мог он найти в то время таких специалистов по интересовавшим его вопросам, как Фуке и Ле Шателье. Но даже в начале своей самостоятельной

научной деятельности Вернадский пользовался лишь методами своих учителей, их опытом, — основные идеи его работ всегда были новы и оригинальны. Его магистерская диссертация «О группе силлиманита и о роли глинозема в силикатах», блестяще защищенная им в 1891 году, является типичной для всех его работ: совершенно новое, даже революционное предположение (роль глинозема объясняется тем, что это кислотный ангидрид) великолепно обосновано, равно как и важные выводы, из него вытекающие; все это оригинальное исследование является лишь заключительным звеном в исторической цепи, которую кует автор-эрудит. Все работы его носят такой же характер. Я объясняю это тем, что Вернадский работал всегда не над одиночным неизученным вопросом, а над целой спорной областью, когда приходится защищать многочисленные пункты и утверждения, и неизбежен многосторонний исторический подход.

Знаменательно, что через 36 лет после выхода в свет его диссертации, его революционное утверждение о роли глинозема в алюмосиликатах, развитое им за много лет в теорию строения силикатов, нашло подтверждение в рентгеновских снимках и в работах многих ученых. Знаменитый Ле Шателье пишет: «Предугаданное Вернадским с гениальной интуицией четверное кольцо в принципе действительно подтвердилось, и наличие его доказано также в минералах, сходных с полевыми шпатами».

После защиты магистерской диссертации Вернадский был назначен доцентом по минералогии при Московском университете и вскоре получил профессорскую кафедру. Здесь он проявил необычайно плодотворную деятельность. Прежде всего он совершенно реорганизовал учебную и исследовательскую лабораторию минералогического кабинета Московского университета и довел ее до высоты лучших лабораторий этого типа в Западной Европе. Затем надо было поднять до той же высоты самое преподавание кристаллографии и минералогии в наших университетах: в большинстве случаев оно было допотопным и шаблонным. Хороших печатных «курсов» кристаллографии и минералогии не существовало. Вернадский читал и кристаллографию, и минералогию, и его лекции по глубине и новизне содержания могли соперничать с любым курсом европейских профессоров. Первое издание его лекций по минералогии появилось уже в 1891 г. и совершенствовалось с каждым изданием. В 1908 г. оно дополнилось более

детальным трудом «Опыт описательной минералогии», который с небывалой широтой охватывал все минералы земной коры и сопровождался самой полной библиографией, использовать которую мог только Вернадский, читавший книги на всех европейских языках. Для этой работы он изучил минералогические и геологические музеи и многие минеральные месторождения в России, а также почти во всех европейских странах и в Американских Соединенных Штатах.

Во всей этой колоссальной подготовительной работе, особенно в литературной, самое деятельное участие принимала жена Вернадского — Наталья Георгиевна (урожденная Старицкая), — удивительная женщина по уму, доброте и по тихой, незаметной воле. Она очень любила своих детей, сына и дочь, но все ее существо было таинственными нитями связано с мужем, она была неотделима от него — это был «дух един». Интересы Владимира были ее интересами, его работы — ее работами, в которых она к тому же принимала большое участие: большинство книг Вернадского переведено на французский, немецкий и английский ею. Наталья Георгиевна скончалась за полтора года до смерти Владимира Ивановича — 3 февраля 1943 года.

В 1897 г. Вернадский защитил докторскую диссертацию «Явления скольжения кристаллического вещества». В 1903 г. вышли из печати его «Основы кристаллографии» — курс, выработанный им за годы преподавания в Московском университете, дававший полное представление об этой точной и почти законченной в своем развитии науке. Исключительная полнота его лекций и прекрасная организация исследовательской работы привлекали к нему на лекции, а затем и в лабораторию многочисленных учеников, из которых многие сделались видными учеными и в настоящее время занимают кафедры в университетах и в других высших учебных заведениях Сов. Союза. Академия Наук в свою очередь отметила молодого ученого и в 1906 г. избрала его адъюнктом, в 1909 г. — экстраординарным, а в 1912 г. — ординарным академиком.

Все эти годы Вернадский принимал деятельное участие в земском либеральном движении, был одним из основателей «Союза освобождения» (1903 г.), а затем — конституционно-демократической партии. Вместе с тем он придавал большое значение преобразованию университетов, настаивая на самой широкой их автономии. Мысль об этом высказывалась им еще в 1901 году. Автономия университетов была, как известно,

осуществлена в 1905 г., но через несколько лет, когда министерством народного просвещения назначили Кассо, правительство пыталось всячески ограничить их права. Группа профессоров Московского университета, в том числе и Вернадский, вышла в виде протеста в отставку (1911 г.). Вернадский переехал в Петербург и посвятил все свое время Академии Наук. Он развил широкую научную деятельность, не только личную, но и коллегиальную, привлекая к работе многих ученых и основывая при Академии исследовательские институты и лаборатории, в том числе, уже перед самой войной 1914 г., Радиевый институт.

Но еще до войны 1914 г. началась революция в области науки: открытие рентгеновских лучей, радиоактивных излучений урана и других элементов, изучение атомной энергии, легшей в основу всего нашего физико-химического миростроения и вызвавшее глубокую критику, и в конце концов изменение основных понятий не только науки, но и всей нашей жизни — понятий о времени и пространстве. Все это еще далеко не закончено, многое спорно и ждет дальнейших работ и всестороннего, не только научно-философского, но и государственного обсуждения. По моему мнению, может быть пристрастному, никто больше Вернадского не работал для этого революционного мирового процесса. Здесь сказалось его прирожденное стремление к историческому рассмотрению всякого изучаемого им предмета, а также необыкновенная его работоспособность, глубокое образование, организаторский талант и спокойная настойчивость в проведении взятого на себя дела.

Его работа по изучению радиоактивных минералов и их значения в процессах земной коры была уже подготовлена его предшествовавшими исследованиями минералов, содержащих редкие земли. Я не могу останавливаться на этих работах, прежде всего потому, что значение Вернадского было не в его личных изысканиях, а в его организации коллективных работ в различных институтах, комиссиях, экспедициях, им устроенных и им руководимых, в международных конгрессах, в которых он принимал самое деятельное участие, и больше всего в его обобщениях, в его критике и программах дальнейших исследований.

Обзор работы Радиевого института Вернадский дал в своем докладе на Международном Геологическом конгрессе в Москве в 1937 г., где им были высказаны чрезвычайно

важные обобщения по многим вопросам миропознания. Остановимся на некоторых из них: «Все земное вещество без исключения, говорит Вернадский, — горные породы, минералы, воды, газы, живые организмы, — проникнуты атомами радиоактивных элементов, все содержат соответственные радиоактивному распаду их количества — атомы урана, тория, актиноурана, радия, протактиния, актинона, торона, иония и т. д., свинца и гелия. Интересно, что эти элементы находятся в значительной мере в виде отдельных атомов. Вся земная материя проникнута их непрерывным движением, частью их гибелью и частью их созданием, проявлениями их энергии. Мы судим об этом на основании химического и радиогеологического анализа земных естественных тел. Но это явление должно быть и геологически изучено. Сейчас открывается возможность их точного изучения методикой проф. В. Н. Баранова, позволяющей видеть пробег альфа-частиц, исходящих из рассеянных атомов и из их скоплений в горных породах. Так проявляется длительность геологического времени; оно явно связано с радиоактивной энергией этих атомов, которая является свободной энергией земной коры; каждый радиоактивный атом, выделяя свободную энергию, разрушает окружающую среду.

Уже Содук заметил, что атомы быстро исчезающего радона, торона или актинона не могут собраться в более или менее значительном количестве: 500 куб. сантиметров разрушили бы все окружающее и произвели бы катастрофу на земле. И действительно, мы наблюдаем, что в воздухе в одном кубическом сантиметре находится всего 0,5-1,5 радона, и все же, благодаря главным образом им, образуется электрическое поле земли».

Такое рассеяние до единичных атомов соединений урана, актиноурана и тория могло создаться в земном веществе только в течение геологически длительного времени и следовательно указывает на чрезвычайную длительность существования горных пород земной коры. Оно заставляет, говорит Вернадский, считать с вероятностью, что все химические элементы находятся в радиоактивном распаде, но распад их пока не обнаруживается нашими методами. В связи с этими и другими работами московского Радиового института и аналогичных учреждений других стран разрабатывается вопрос о возрасте земли. Вернадский приводит, по проф. Кнопфу (Нью-Хэйвен), цифру в 2 миллиарда лет, но считая ее

вероятной, он все же предлагает геологическому конгрессу (1937 г.) создать, в виду важности этого вопроса, международную комиссию для определения длительности (в декамириадах — 100 тысяч лет, предложение Вернадского) не только геологических периодов и их подразделений, но и более мелких, особенно интересных с геологической точки зрения.

Остановимся еще на одном заявлении Вернадского на этом же съезде: «Наша планета, говорит он, не тело высокой температуры, как этому учат в геологии. Наибольшая температура в ней, реально наблюдаемая в магматических породах, едва ли превышает 1200 градусов, причем все указывает, что значительная часть этой температуры, наблюдаемой на земной поверхности в лавах, связана с окислительными процессами, вызываемыми богатой кислородом земной атмосферой. На глубине температура достигает максимум 1000 градусов. Все указывает, что область высокой температуры сосредоточена в земной коре, мощность которой не превышает 60 килом. И что в ней нет сплошного огненно-жидкого слоя. Существуют лишь магматические очаги. Углубляясь внутрь планеты, мы должны ожидать понижения температуры, а не ее повышения. То, что мы знаем о других планетах — потухших, как Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран и таких, как Марс и Венера, — этому не противоречит. Можно считать эмпирическим обобщением, что количество рассеянной энергии земного вещества в верхних частях нашей планеты достаточно для того, чтобы объяснить все движения твердых масс земной коры — органические и тектонические их выражения, все движения жидких и газообразных масс...»

Научная революция, которую произвело изучение радиоактивных явлений, потрясла и фундамент нашего знания и понимания мира, наши основные понятия о пространстве и времени. Вернадский принимал самое горячее участие в этой критико-творческой работе, далеко еще не закончившейся. Мы приведем выводы и обобщения, к которым он приходит.

Пространство для нас, говорит он, неотделимо от времени. Для науки нет пространства без энергии и материи без времени. Можно принять как рабочую гипотезу, что пространство внутри живого вещества иное, чем внутри косных естественных тел. Существование правизны и левизны и физико-химические их неравенства указывают на другую, не-эв-

клидову геометрию. Геометрия эта еще далеко не разработана, требуется дальнейшее изучение этого вопроса.

Та же революция происходит и в области понятия времени. Бренность жизни нами ощущается как время, отличное от обычного времени физики. Это — длительность, дление. Дление — бренность проявляется в нашем сознании, но его мы должны применять и ко всему протяжению жизни и к бренности атома. Новый метод измерения космического реального дления создается теперь изучением явлений радиоактивности. Грань между психологическим и физическим временем стирается. Великая загадка вчера -сегодня-завтра, непрерывно нас проникающая, распространяется на всю природу. Пространство-время не есть стационарно-абстрактное построение или явление. В нем есть вчера-сегодня-завтра; оно им проникнуто. Такая же бездна открывается и в «мгновеньи»: в нем встает реальное содержание, не менее богатое, чем то, которое нами создается в безбрежном пространстве-времени Космоса. В микроскопическом разрезе мира — одна гептамиллионная сантиметра, мера протона — есть такая же реальность, наполненная содержанием, как десятибиллионная доля секунды, в течение которой атом полония, проходя через атом висмута, даст атом свинца. Каждый из атомов в этот ничтожный промежуток времени получает свое сложнейшее, резко различное строение, проявляет свои закономерные движения. В этом явлении микрокосмоса, для нашего сознания бездонного, мы подходим к длению нашей личности: сколько бессознательных и сознательных процессов переживает каждый из нас в ничтожную долю времени. Бывают мгновенья в жизни, когда это ощущается ясно и определенно.

Все это приводит нас к такому пониманию пространства-времени, в котором оно перестает быть неподвижным пространством геометрии и становится неустойчивым, динамическим, текучим. Начинает открываться новая картина мироздания. Все видимые простым глазом звезды, все небо принадлежит к нашей галактии. Но телескоп проникает за ее пределы. В телескоп видны бесчисленные туманности, нашим звездам чуждые, чуждые нам мировые острова. И вот мы видим, что эти мировые острова разбегаются с непостижимой для нас, раньше негаданной для космических тел скоростью. Для самых дальних она превышает сейчас 20.000 килом. в секунду — $1/15$ скорости света. Мыслить подобные скорости — скорости взрыва — для огромных частей пространства, для кос-

мических систем как обычное, основное проявление мироздания, казалось еще недавно невероятным.

Что это такое? Реальное явление, действительно идущий рост мира, его пульсация, или же это — новое, неизвестное нам проявление свойств текучего пространства-времени?

Если это реальное явление — мир нам вскрывается как нечто неустойчивое, находящееся в несложившемся состоянии волнения. Мир взрывающийся, но вновь приходящий в равновесие. Устойчивость мира Ньютона давно уже была загадкой: непрерывно открывались явления на первый взгляд ей противоречащие.

Мы переживаем не кризис, говорит Вернадский, а величайший перелом мировой научной мысли, какие бывают раз в тысячелетие. Охватывая взором будущее, мы должны быть счастливы, что нам суждено участвовать в его создании. Мы только начинаем сознать непреодолимую мощь научной мысли, величайшей творческой силы *Homo Sapiens*, человеческой свободной личности, самого значительного известного нам проявления ее космической силы, царство которой с неожиданной быстротой к нам приближается*).

Биосфера и ноосфера Вернадского

«В нашей стране, говорит Вернадский, первая мировая война привела к новой, исторически небывалой форме государственности, не только в области экономической, но и в области национальных стремлений... На моей научной работе она отразилась самым решающим образом. Она изменила в корне мое геологическое миропонимание. В атмосфере этой войны я подошел в геологии к новому для меня и для других пониманию природы — к геохимическому и к биогеохимическому, рассматривающему и косную, и живую природу с одной и той же точки зрения».

В 1915 году по инициативе Вернадского и под его председательством была образована при Академии Наук комиссия по изучению производительных сил России, так называемый КЕПС. Это учреждение сыграло значительную роль в критический период войны. Совершенно неожиданно в разгаре войны Академии стало ясно, что в России нет точных данных,

*) «Проблемы времени в современной науке», стр. 534-541. Известия Академии Наук СССР. 1932 г.

касающихся так называемого стратегического сырья, и пришлось спешно собирать и обрабатывать разрозненные данные, чтобы восполнить эти пробелы. В 1917-1920 гг. Вернадскому пришлось жить на Украине и в Крыму. Но где бы он ни был, его мысли были обращены к геохимическим и биогеохимическим явлениям в биосфере.

«Наблюдая их, пишет он, я в то же время направил интенсивно и систематически в эту сторону и свое чтение, и свое размышление. Получаемые мною результаты я излагал постепенно, как они складывались, в виде лекций и докладов, в тех городах, где мне пришлось в то время жить». Таким образом оформилось его учение о биосфере.

Понятие о жизни как о космическом явлении высказывалось уже давно. В конце 17 века голландский ученый Христиан Гюйгенс развивал эту проблему в своем последнем труде «Космотеорос». Эта книга, по инициативе Петра Великого, была трижды опубликована на русском языке под заглавием «Книга мироздания». Гюйгенс устанавливает научное обобщение, что «жизнь — космическое явление, резко отличающееся от косного вещества».

«Живым веществом» Вернадский называет «совокупность живых организмов». Живое вещество находится только в биосфере, которая состоит из атмосферной тропосферы, океанов и тонкого слоя континентальной земли, глубиной около трех километров, изредка несколько глубже. Человек стремится расширить объем биосферы.

Биосфера — область жизни, где непрерывно возникают и стремительно движутся различные радиации. Вещество биосферы разнородно: это различные живые, косные и биокосные (почвы, озерная вода), природные или естественные тела; в биосфере происходят непрерывные передвижения атомов от живых тел к косным и биокосным, и обратно. Живое вещество по весу составляет незначительную часть — 0,25% нашей биосферы. Вероятно, так же было и в течение всего геологического времени, т. е. это соотношение геологически вечно. Биокосное естественное тело — понятие новое — биогеохимически точно и определенно отличается от понятия косного и живого естественного тела. В биосфере естественные тела этого рода ярко выражены и играют большую роль в ее организованности. Биокосные естественные тела характерны для биосферы. Это закономерные структуры, состоящие из косных и живых тел одновременно, например, почвы.

Биогенная миграция атомов играет в их свойствах большую, нередко преобладающую роль. Биокосными телами являются в значительной своей части земные воды. Все воды океанов и морей, рек и озер, все их илы являются биокосными телами. Роль биокосных естественных тел чрезвычайно велика и еще не учтена настоящим образом в организованности биосферы.

В 1926 г. одновременно появились работы, определяющие нижнюю часть границы биосферы в Америке и в Баку, которые показывают, что чрезвычайно глубокие пластовые нефтяные воды переполнены организмами и, следовательно, входят в область биосферы. Это заставляет нижнюю границу ее проводить еще ниже, на глубине нескольких километров. Вернадский думает, что область биосферы ограничивается снизу высокой температурой, около 100 градусов, а наверху, в стратосфере — озоновым экраном, ультрафиолетовыми излучениями.

Мы должны предположить существование подводной и подземной атмосфер, которые являются естественной частью биосферы. Воздух океана представляет собой прямое и неразрывное продолжение тропосферы. Эта подводная атмосфера, находясь в связи с тропосферой, изменена в своем химическом составе и подвергается давлениям свыше тысячи атмосфер. Ниже дна океана и ниже поверхности геоида на суше находятся и неразрывно связаны друг с другом, с тропосферой и подводной атмосферой — подземные атмосферы. Основным свойством этих атмосфер можно считать то, что они в главной своей массе являются источником жизни. Это несомненно по отношению к кислороду, который составляет по объему около одной восьмой тропосферы и который выше, разрежаясь, переходит в стратосферу. Всякая потеря кислорода, который уходит на различные химические и биохимические реакции, немедленно восстанавливается жизнью, почти исключительно фотосинтезом зеленых растений. Кислород входит в состав тропосферы и подводной атмосферы и быстро сходит на нет в подземных атмосферах. В тропосфере, а может быть даже и в стратосфере, идет другая, независимая от жизни реакция его синтеза: действие ультра-фиолетовых излучений на молекулы воды. Но она несравнима по величине с биогенным процессом. Также на втором плане стоят и радиохимические разложения, дающие кислород в тропосфере, стратосфере и в подземной атмосфере. Итак, говорит Вернадский, кислород тропосферы и стратосферы в главной своей

массе — биогенный. Такой же биогенный процесс определяет и генезис азота атмосферы.

Живые организмы существуют не только на нашей планете и в земной атмосфере; присутствие их пока обнаружено на «земных планетах» — на Венере, Земле и Марсе. Вернадский, конечно, много работал над изучением энергий, характерных для биосферы, и особенно над проявлением ее действенной свободной энергии — мы не можем оставить этот вопрос без рассмотрения. «Проявляемая живым веществом в биосфере свободная энергия, сводимая к работе, связанной с движением атомов, и проявляющаяся в движениях живого вещества, была названа мною в 1925 году биогеохимической энергией, говорит Вернадский; она резко отличает живое вещество от косного. Реальными источниками ее являются в конечном счете энергия солнечных лучей и энергия химических элементов, строящих тело живого вещества, энергия химическая и тепловая».

Возможно участие в ней и радиоактивных элементов. Биохимическую энергию, связанную с заселением планеты, Вернадский пытался определить в виде особой для каждого вида живых существ максимальной скорости заселения планеты данным организмом. Эта энергия связана с размножением организмов. Каждое живое вещество может этим путем перемещаться по планете и в определенный, различный для каждого срок — теоретически заселить всю планету. В самом быстром случае — для бактерий — это заселение может произойти приблизительно в сутки, а для слона — в тысячу, тысячу сто лет. Отмечу, говорит Вернадский, огромную новую форму биогеохимической энергии, каковой является техническая работа человечества. Любопытно, что рост машин с ходом времени в структуре человеческого общества идет по геометрической прогрессии, так же, как идет размножение всякого живого вещества, людского в том числе. Основное своеобразное свойство биогеохимической энергии резко и ярко проявляется в росте свободной энергии геологического времени, особенно резко с переходом его в «ноосферу».

Мы попытались вкратце изложить главные из выводов, которые сделал Вернадский со своими сотрудниками по «биогеохимической лаборатории», созданной им около двадцати лет тому назад при Академии Наук, ныне «Лаборатория геохимических проблем имени В. И. Вернадского». Эта работа, приобщенная к той, которую он вел в основном им

еще раньше Радиевом институте, а также в различных комиссиях, съездах и конгрессах, как русских, так и международных, была так огромна, что сильно расшатала организм Вернадского. Здоровье его начало понемногу сдавать: уже в тридцатых годах стало пошаливать сердце, а в 1940 г. я получил большое письмо, написанное под диктовку его секретаршей — произошло кровоизлияние и паралич правой руки. Ему пришлось отказаться от организационной и официальной работы в институтах, но за собой он все же оставил председательство и руководство в трех комиссиях — метеоритной, по изотопам, о геологическом времени, — и не прерывал печатания своих работ. В письме от 11 июля 1939 года он перечисляет шесть заглавий; дух его все еще бодр. В этом письме он пишет: «Сохраняю молодость духа и не чувствую ни малейшего признака ослабления ума. Напротив того, мне кажется, что я иду все вперед». Таков его всегдашний припев. В конце 1939 года он поправился, но 8 января 1941 года я получил письмо, в котором он пишет мне: «...а между тем я, оправившись от одной болезни, вновь заболел было ангиной, которая обычно отражается на сердце. Но духом я несомненно расту даже теперь. Я работаю над V выпуском «Проблем биогеохимии», подвергаю критике основные вопросы геологии и, мне кажется, прихожу к новым большим выводам, — но ангина прервала эту работу...» Кончает он это письмо очень трогательно: «Не знаю, увидимся ли мы с тобой, но будущее, ноосфера, представляется мне — для моей внучки — хорошим». Владимир Иванович страшно хотел ее повидать, даже ходатайствовал о командировке в Лондон, как товарищ председателя Международной комиссии по вопросу о геологическом времени, а оттуда рукой подать и до Америки, где живет внучка. Война разрушила эту надежду. А 3 мая я получил от него открытку, написанную на машинке секретаршей и плохо им подписанную: «У меня опять были спазмы в сердце, но пока я могу научно работать, и работа моя идет очень хорошо. Я нахожусь в периоде научного творчества». Это было его последнее письмо ко мне: писем уже не пропускали. О последних трех годах его жизни я пока не имею никаких сведений.

Оценка Вернадского, как мирового ученого и провидца грядущей эры, еще впереди, когда будет систематизировано все им созданное и предсказанное. Нужна обстоятельная его биография. Но все же, хотя и не в полной мере, он был

оценен еще при жизни: на всех международных конгрессах, во всех комиссиях он являлся бесспорным и авторитетным главой российских специалистов по минеральному царству и основоположником их научного миросозерцания. Исследовательские институты и лаборатории часто ведут свои исследования по его программе и почти всюду под его влиянием. Правительство Советского Союза ассигновывало громадные суммы для осуществления его планов и задач, а самого Вернадского наградило орденом Трудового Красного Знамени, премией Сталина и основало премию имени В. И. Вернадского.

Теперь перейдем к последнему созданию Вернадского, к его ноосфере.

«Задача науки, говорит Вернадский, заключается в том, чтобы точно исчислить, описать все естественные тела и все природные явления, существующие и существовавшие в биосфере». Работа длится поколениями, и миллиарды миллиардов фактов должны быть научно охвачены, сосчитаны и приведены в систему. Они составляют основу науки, из них строятся эмпирические обобщения. В результате этой работы возникает основное содержание науки, для которой Вернадский вводит новый термин — н а у ч н ы й а п п а р а т. Этот научный аппарат начал создаваться в астрономии еще за тысячи лет до нашей эры и дошел до нас в виде числовых данных для положений солнца, звезд, планет (Гиппарх, Птоломей).

Но только в XVIII веке стремление точно сосчитать, отметить и описать всякое естественное тело и записать всякое природное явление стало сознательной задачей точного естествознания. Линней (1717-1778 гг.), опираясь на работы старых натуралистов, подсчитал впервые число видов животных и растений — однородных живых существ, населяющих биосферу. Он знал в 1758 г. всего 4162 вида животных, в 1768 г. — 5936 видов и в 1768 г. — 7788 видов растений. Всего живых организмов Линней различал 13724, горных пород и минералов еще меньше. Сейчас количество известных нам видов растений приближается к 200 тысячам и может быть превысит 300 тысяч. Число видов животных уже равняется 800 тысячам и в действительности, вероятно, отвечает нескольким миллионам.

Так непрерывно совершенствуется наш научный аппарат, благодаря которому мы все яснее разбираемся в бесчислен-

ном количестве фактов. В свете научных обобщений и временных гипотез и теорий, охваченные математической дедукцией и анализом, они являются истиной, точность и глубина которой с каждым поколением увеличивается.

В ходе геологического времени живое вещество изменяется морфологически. История живого вещества выражается медленным изменением форм живых организмов, которые генетически неразрывно связаны между собой от поколения к поколению. Эта идея получила в 1859 году прочное обоснование в достижениях Ч. Дарвина и Уоллеса. Она была введена в учение об эволюции видов растений и животных, в том числе человека. Эволюционный процесс характерен только для живых веществ. В косном веществе на нашей планете нет явлений этого рода. Изменение в морфологической структуре живых веществ, замечаемое в процессе эволюции, немедленно ведет к изменению в ее химическом составе, утверждает Вернадский. Количество живых веществ незначительно по сравнению с косной и биокосной массой биосферы; биокосные горные породы составляют большую часть этой массы и идут далеко вглубь, за пределы биосферы. Подверженные влиянию метаморфизма, они превращались, теряя все следы жизни, в гранитный покров и уже не составляют более части биосферы. Гранитный покров земли есть область прежних биосфер.

В книге Ламарка «Гидрогеология» живое вещество уже представлено творцом главных горных пород. Знаменитый химик Дюма, младший современник Ламарка, тоже примыкал к идее важности живого вещества в структуре горных пород биосферы. Младшие современники Дарвина, Дана и Леконт, оба крупные американские геологи, распространяли даже раньше 1859 г. эмпирическое обобщение, что эволюция живого вещества происходит в определенном направлении. Этот процесс Дана назвал цефализацией, а Леконт — психозонической эрой.

Этот «принцип Дана» охватывает не только животное царство в целом, но выявляется в индивидуальных типах животных. Дана указывал, что в ходе геологического времени — по крайней мере уже два биллиона лет — происходит процесс роста и совершенствования центров нервной системы у всех, начиная с ракообразных и головоногих, и кончая человеком. Геологоисторический процесс он и назвал цефализацией. Мозг, который достиг известной высоты в процессе

эволюции, не подвержен регрессу, а может только идти вперед

Исходя из понятия о геологической роли человека, известный русский геолог А. П. Павлов в последние годы своей жизни говорил обычно об «антропогенной» эре, в которой мы живем теперь, указывая на колоссальные завоевания современной техники и на то, что человек на наших глазах становится мощной, все растущей геологической силой. Эта творческая сила формировалась в течение долгого времени и совершенно изменила материальное положение человека и его духовное развитие. В двадцатом веке он познал и объезд всю биосферу, заполнил географическую карту нашей планеты и колонизовал всю ее поверхность. «Человечество, говорит Вернадский, своей жизнью стало единым целым... Все это — результат цефализации, роста человеческого мозга и направляемого им труда».

Геологический эволюционный процесс человечества показывает биологическое единство и равенство всех людей,

Номо Sapiens и его предков Sinanthropus и других; их потомство в смешанных белой, красной, желтой и черной расах развивается непрерывно в бесчисленных поколениях. Это, утверждает Вернадский, закон природы. В историческом состязании, как например в войне такого размера как нынешняя, в конечном счете побеждает тот, кто следует этому закону. Нельзя безнаказанно идти против принципа единства всех людей, как закона природы.

Исторический процесс коренным образом изменяется на наших глазах. Впервые в истории человечества интересы масс с одной стороны, и свобода личности с другой, определяют течение жизни человечества и вырабатывают идею справедливости. Поднимается вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества в целом. Новая стадия биосферы, к которой мы приближаемся, не замечая того, есть «ноосфера».

«В 1922-23 гг. на лекциях в Сорбонне*), в Париже, — говорит Вернадский, — я принял как основу биосферы био-

*) В 1922 году Вернадский был избран членом-корреспондентом Парижской Академии Наук (Institut de France); я не думаю, чтобы за все время существования Академии (больше 200 лет) этой чести удостоились более 20 русских ученых.

геохимические явления. Часть этих лекций была напечатана в моей книге «Очерки геохимии», вышедшей сначала в 1924 году на французском языке, а в 1927 году переведенной на русский язык. Французский математик Леруа, философ берг-соновского толка, принял биогеохимическое обоснование биосферы за отправной пункт, в своих лекциях в Коллеж де Франс ввел в 1927 году понятие о ноосфере как стадии, через которую биосфера теперь проходит и подчеркивал, что пришел к этому понятию в сотрудничестве со своим другом, монахом Тельгард де Шарденом, крупным геологом и палеонтологом, ныне работающим в Китае. Ноосфера — новый геологический период на нашей планете. В ней человек впервые становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестроить свою жизнь трудом и мыслью, перед ним открываются все более и более широкие творческие возможности. Здесь встает перед нами новая загадка. Мысль не есть форма энергии. Как же она может изменять материальные процессы? Этот вопрос научно до сих пор не решен, с огорчением отмечает Вернадский.

Что касается грядущего ноосферы, то мы видим, говорит он, вокруг нас на каждом шагу эмпирические результаты этого «непонятного» процесса. Минералогическая редкость, самородное железо — добывается теперь в миллиардах тонн. Природный алюминий вырабатывается в каком угодно количестве. То же верно по отношению к бесчисленным искусственным соединениям (биогенные культурные минералы), полученным искусственно на нашей планете. Все стратегическое сырье тоже создано нашей техникой. Химически лик нашей планеты — биосфера — резко изменяется человеком, сознательно и еще более бессознательно. Воздушный покров земли, а также все ее природные воды изменяются физически и химически благодаря человеку. В 20-ом веке в результате роста человеческой цивилизации, моря и части океанов близ берегов меняются все более заметно. Кроме того, новые виды и породы растений и животных творятся человеком. Осушение сказочных снов кажется Вернадскому возможным: человек стремится выйти за пределы своей планеты в космическое пространство и, вероятно, выйдет.

К сожалению, историки и государственные деятели только начинают приближаться к пониманию явлений природы с этой биогеохимической точки зрения.

«Ноосфера, говорит Вернадский, — последнее из многих

состояний эволюции биосферы... Ход этого процесса только начинает нам выясняться из изучения ее геологического прошлого... Богатые кальцием скелетные образования животных впервые появились в биосфере пятьсот миллионов лет тому назад, в кембрийской геологической эре, а растений — больше двух миллиардов лет тому назад. Это — кальциевая функция живого вещества, ныне мощно развитая, была одной из важнейших эволюционных стадий геологического изменения биосферы. Не менее важное изменение биосферы произошло 70-110 миллионов лет тому назад, во время меловой и особенно во время третичной системы. В эту эпоху впервые создались в биосфере зеленые леса, всем нам родные и близкие. Это — другая большая эволюционная стадия, аналогичная ноосфере. Вероятно, в этих лесах эволюционным путем появился человек около 15-20 миллионов лет тому назад».

«Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее — новый стихийный геологический процесс — в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но для нас важен факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим».

Так заканчивает Владимир Вернадский одну из своих последних статей, написанную 22 июля — 15 декабря 1943 года. Статья эта появилась в журнале «American Scientist» в январе 1945 года, почти одновременно с получением известия о кончине ее автора.

Ты прав, мой милый, вечный друг, мы должны с доверием смотреть на будущее: «Оно в наших руках, и мы его не выпустим». Это завещание — новое оружие в нашей давней борьбе за правду-истину, за светлое и высокое будущее человечества. И пусть творческий дух великого ученого в иных просторах бытия будет спокоен за судьбу своих земных братьев: они не допустят, чтобы атомные бомбы разрушили нашу ноосферу. Ведь именно атомная энергия и открывает нам путь к ноосфере.



Printed in the United States of America
by L. Rausen, 417 Lafayette Street, New York 3, N. Y. GR. 5-9802
Residence AU 3-0310

Mido

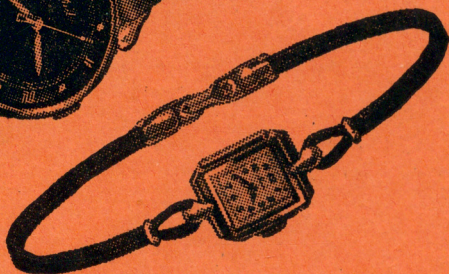
FIRST CHOICE

for accurate wrist-time
for streamlined distinction



for Men

for
Women



They're accurate appointment-keepers, these streamlined, stylized wrist watches by Mido. Designed with true elegance for women — with powerful lines for men. 17-jewel movements.

NOTE: Mido Multifort Super Automatic and Mido Multifort watches (100% water-proof, shock resistant, and anti-magnetic) are FIRST CHOICE of service men and civilians because of the outstanding service they have rendered. Sorry, only a limited quantity is available at present for civilians, but remember, a Mido Multifort is worth waiting for.

'NOVOSSELYE'
A RUSSIAN LITERARY MONTHLY

Editorial & Administrative Offices:

S. PREGEL - BREYNER,

330 West 72 Street, New York 23, N. Y.

ENdicott 2-1660

“ Н О В О С Е Л Ь Е ”
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
под редакцией С. ПРЕГЕЛЬ

Подписная плата:

В Соединенных Штатах: на один год — \$4.50, на шесть месяцев — \$2.50; в Канаде: на один год — \$5.00, на шесть месяцев — \$2.75.

Цена номера в розничной продаже — 45 центов

Цена двойного номера — 75 центов

IN THIS ISSUE

ALEXEY REMIZOV.....	The Sorcerers (A Story)
SOPHIA PREGEL.....	Dawn on the Black Sea, In the Prayer House (Poems)
A. LADINSKY.....	Salome (A Story)
ANNA PRISMANOVA.....	The Storm, The Shepherds (Poems)
V. YANOVSKY.....	The Travels of an Ant (A Long Short Story)
VADIM ANDREYEV.....	Coming Home (A Poem)
LALA KAUFMAN.....	The American Scene (Short Stories)
IRINA GRAHAM.....	Springtime in Chapei (A Memoir of the War)
S. DUBNOVA.....	The Martyrs of the Ghetto (About the Heroes of Jewish Resistance)
MARK SLONIM.....	A Russian Debate (An Article)
VLADIMIR DUKELSKY.....	An Essay on American Composers (The Gershwin Era)
V. AGAFONOV.....	A Great Russian Scientist: Academician V. I. Vernadsky (A Portrait)

HEINRICH MANN

**AN IMAGINARY MEETING OF THREE EUROPEAN
STATESMEN**